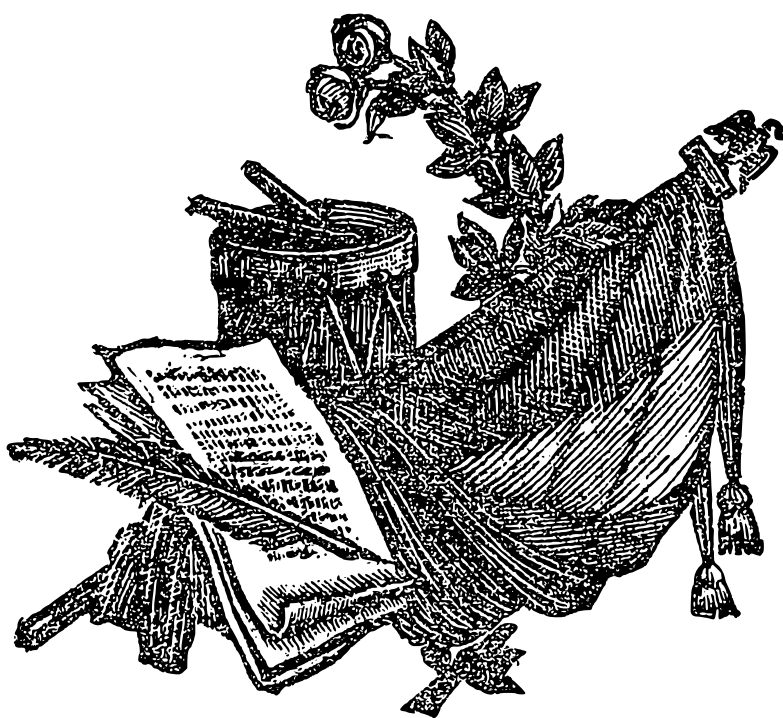


Моя Биография

Пьер-Жан де Беранже



Author: [Пьер-Жан де Беранже](#)
Перевод с французского: Н. Славятинский
Примечания: Ю.И. Данилин
Иллюстратор: Е. Бургункер
PDF 7 Mar 2011
revision:

Автобиография Беранже, написанная им в 1840 году, была издана в 1857, после его смерти. На русский язык она была переведена Костомаровым (Беранже, “Моя биография”, М., 1861; переиздано без имени переводчика в первом томе “Полного собрания песен” Беранже. СПб., 1904). Почти одновременно Чернышевский, арестованный по доносу Костомарова и сидя в Петропавловской крепости, перевел некоторые отрывки из “Моей биографии” — в частности “Историю тетушки Жари”.

This PDF was created with the help of reStructuredText, rst2pdf, potrace, inkscape, gimp and emacs. No boring TeX or fucking (Open|Libre)Office were involved.

Какая забота великим поэтам, узнает ли потомство историю их жизни? Вся она — в славе их произведений; нередко поэты только выигрывают от тех легенд, которыми народы, за отсутствием положительных сведений, украшают колыбель или могилу своих любимых певцов.

Поэт-песенник — более или менее верный отголосок своего времени — не может мечтать о подобном ореоле. Если и случится, что его песни переживут несколькими годами его самого, то, чтобы хорошенько понять их, следующее поколение будет нуждаться в знании тех особых обстоятельств и чувств, которые его вдохновляли.

Так не раз говорили мне друзья, убеждая меня написать воспоминания.

А я постоянно отвечал им:

— Ну что интересного в жизни человека, который решительно ничего не представлял собою в ту пору, когда столько людей были на самом деле значительными или же такими себя считали?

На это следовало неизменное возражение:

— Ваша биография, написанная вами самим, может стать наилучшим объяснением к вашим песням.

Наконец я превозмог свою лень и собрал здесь довольно много воспоминаний.

Должен, однако, предупредить читателя: современник величайших событий столь созидательной эпохи, я не собираюсь в своих рассуждениях и размышлениях переступить пределы, очерченные моей деятельностью песенника.

Озабоченный всегда и прежде всего благом родины, я, конечно, мог бы глубже затронуть некоторые вопросы государственного устройства; политик по натуре, я мог бы высказать свое мнение по поводу — иных важных начинаний. Но в этих заметках я отвожу место событиям, касающимся лишь одного меня, происшествиям не важным и подчас весьма обыденным. Что же касается влияния, которое я оказывал на политику, то я сошлюсь на то, что будет угодно сказать об этом историкам, — если только найдутся такие, которым придет охота отыскивать это влияние в последних событиях истории Франции.

Читая эти воспоминания, легко прийти к заключению, что мой созерцательный характер часто заставлял меня ограничиваться ролью зрителя. Вот почему, когда в пятьдесят лет я был недалеко от власти, я только взглянул на нее и прошел мимо. Так, во времена моей полной лишений молодости я любил, остановившись перед зеленым сукном, заваленным грудями золота, наблюдать за ходом игры, — и нисколько не завидовал игравшим. Тут не было ни пренебрежения, ни благоразумия: таков уж мой характер.

Размышления, рассеянные в моем рассказе, будут отзываться тою будничностью, которая так была мне по душе. Великим людям — великие дела и великие сказания! А здесь — только история сочинителя песен.

Если бы люди сами выбирали себе место рождения, я непременно выбрал бы Париж, который еще до нашей великой революции был городом свободы и равенства, городом, где несчастье встречается, может быть, наиболее сочувствия. Я родился там 19 августа 1780 года, под кровом моего доброго дедушки¹, портного Шампи, в доме, который до сих пор еще стоит на улице Монторгёй².

Кто бы подумал, что я, уроженец одной из самых грязных и шумных улиц Парижа, так буду любить леса, поля, цветы и птиц!

На этой-то улице мой отец³, одно время служивший писцом у провинциального нотариуса, начал свое столичное поприще как счетовод какого-то бакалейного торговца. Лет тридцати он решил стать дельцом и задумал жениться. Каждое утро мимо бакалейщика шла на работу в модный магазин девятнадцатилетняя девушка, живая, миловидная, грациозная. Она понравилась отцу. Он посватался и получил согласие портного Шампи, у которого было еще шестеро других детей.

Дедушка не дал другого приданого моему отцу, кроме полезных связей, которые могли бы ему пригодиться.

Но не тут-то было! Спустя полгода после свадьбы, промотав все, что у них имелось, супруги разошлись. Отец уехал в Бельгию, мать вернулась к родным и снова принялась за ремесло модистки, нисколько не сожалея об отсутствующем муже, которого никогда не любила, хотя он был добр, любезен, весел и хорош собой.

Рождение мое едва не стоило жизни матери: пришлось прибегнуть к щипцам, чтобы помочь мне появиться на этот свет, откуда я хотел бы уйти с гораздо меньшими церемониями. Впоследствии всегдашнее недоверие к своим силам заставляло меня всюду видеть препятствия. И часто я повторял, что для меня на свете все было трудно—даже родиться!

Меня отослали к кормилице в окрестности Оксерра. Там я прожил три с лишним года. За все это время никто и не побеспокоился узнать, хорошо ли мне, или плохо.

А мне было хорошо, даже очень хорошо.

Правда, после узнали, что у кормилицы моей с первых же месяцев пропало молоко и что смоченный вином хлеб заменял мне, по обычаю Бургундии, детскую кашу. Но кормилица растила меня любовно и заботливо. И хотя платили ей очень неисправно, она все же искренне горевала, отдавая меня дедушке, на попечении которого я и оставался до девяти лет.

И он и жена его не слишком-то были нежны к своим детям, но, верные званию дедушки и бабушки, баловали меня как нельзя более. Дядей и теток моих они превратили в моих покорнейших слуг. И уж, конечно, не они виноваты в том, что у меня так и не развился вкус одеваться изящно и изысканно.

Несколько раз я опасно хворал. С младенческих лет подверженный ужасным головным болям, я поздно начал ходить в школу, хотя она была напротив нашего дома, в тупике Бутылки.

Не думаю, чтобы я побывал в школе более двадцати раз,—до того искусно придумывал я все новые предлоги с целью избавиться от этой тягостной повинности. Добрые мои дедушка и бабушка неохотно мне ее навязывали, хотя сами были большие любители чтения. Я помню бабушку, читающую романы Прево и сочинения Вольтера, и дедушку, рассуждающего вслух о книге в то время весьма популярного Рейналя. Впоследствии я стал сомневаться в том, понимает ли моя милая бабушка хоть что-нибудь из того, что читает,—несмотря на всю ее страсть к чтению. Она то и дело ссылалась на “господина де

Вольтера”, что вовсе не помешало ей в день праздника тела господня провести меня под святыми дарами.

Любовь к школе все не приходила.

Мне было куда приятнее тихонько сидеть в уголке, вырезать всякие фигурки, а не то рисовать или же, наконец, вытачивать из вишневых косточек корзиночки—настоящие шедевры, которые поглощали все мое время и приводили в восхищение всех моих родных.

Мать моя уехала от своих родителей и поселилась одна неподалеку от Тампля. Иногда я проводил у нее одну-две недели, и это несколько разнообразило мою жизнь. Часто она брала меня в бульварные театры, на бал или на загородные гулянья.

Я много слушал и мало говорил. Я многое узнал, а читать не научился.

Отец по-прежнему жил отдельно—помнится, в Анжу,—и я виделся с ним всего два-три раза, когда он бывал в Париже. В начале 1789 года он возвратился в столицу. Решено было отдать меня в один из пансионов Сент-Антуанского предместья, куда вскоре меня и отвели.

Оттуда, с высокой кровли дома, я видел взятие Бастилии.

И это как будто все, что я там узнал,—не помню, чтобы нам дали хотя бы один урок чтения или письма. А между тем я уже прочитал “Генриаду”⁴ со всеми примечаниями и вариантами,—также сделанный Мирабо перевод “Иерусалима”⁵—подарки дяди, он был портным, как и дедушка, и хотел приохотить меня к чтению. Каким же образом я научился читать? Никогда не мог я дать себе об этом отчета.

От короткого пребывания в пансионе у меня осталось два воспоминания, кроме взятия Бастилии. Охотно расскажу о них.

К нам часто приходил глубокий старик—навещать своего внука. Тот, будучи самым взрослым из питомцев пансиона, имел право пользоваться в отведенном для него уголке сада беседкой из зелени. Старику нравилось сидеть в ней.

Я тихонько пробирался, чтобы взглянуть сквозь обвивавшие беседку душистый горошек и настурции на восьмидесятилетнего старца, имя которого не раз произносили при мне товарищи. Это был Фавар, основатель Комической оперы и автор многих пьес, например “Аннетта и Любен”, “Искательница ума” и “Три султанши”. И теперь еще задаю себе вопрос, отчего мне, при всем моем неведении, так нравилось с любопытством рассматривать старого поэта, ни достоинств, ни славы коего я еще ценить не умел.

Уж не предчувствие ли моего будущего призвания влекло меня к Фавару, автору стольких песен? Ведь он, рассказывая о своих театральном вояжах, предпринятых им во время военных действий, говаривал: “Маршал Саксонский дал мне звание песнопевца своей армии”.

Второе мое воспоминание совсем в другом роде.

В числе учеников были у нас в пансионе дети Граммона, трагического актера Французского театра. Явственно вижу перед собой самого младшего из них, одетого в красный плащ, переделанный из какого-то “героического костюма” его отца. В каком я бывал восторге, когда он репетировал перед нами роль Иоаса⁶,—он уже упражнялся в ней! Я сошелся с ним потому, что он был кроток и тих, а это так подходило к моей беззаботной мечтательности.

Не то со старшим Граммоном, которому было по меньшей мере пятнадцать лет. Своим дурным обращением он мне внушал непреодолимый ужас. К счастью, наши встречи были очень редки: он принадлежал к числу больших, а я—маленьких. Позже я догадался

о причине его отвращения ко мне.

У меня была там покровительница, состоявшая в каком-то родстве с моим дедушкой, давняя знакомая аббата ***, содержателя пансиона. Чтобы угодить моей кузине, учителя меня баловали, а из-за частых мигреней я то и дело получал освобождение от занятий. Такие милости повели к тому, что мне стали завидовать. Однажды, в день школьных торжеств, и проявилась ненависть ко мне Граммон. Раздавали награды. Я вовсе не притязал на них и обычно смотрел без сожаления, даже когда их давали товарищам гораздо младше меня. Но на этот раз меня, к несчастью, наградили знаком отличия за хорошее поведение—обыкновенная привилегия школьных ослов. Впрочем, говоря чистосердечно, я имел на него некоторое право, так как не был ни проказником, ни крикуном, ни упрямым. Ученики не упустили случая закричать: “Осел, осел!” Но это не помешало начальству украсить меня несносным крестом.

Если я и почувствовал гордость, то она была непродолжительна. В тот же самый день на школьном дворе во время перемены собрались ученики всех возрастов, еще не взятые родителями на вакации. Я стоял у решетки на улице и смотрел на торговцев пирожками и фруктами—искусителей тощего кошелька школьников. Незначительные суммы, которые родители давали детям под названием “недельных”, очень скоро обменивались на эти лакомства. Увы! Я был осужден только глазеть на них, потому что у меня не водилось “недельных”. Особенно зарился я на огромное аппетитно-румяное яблоко. Я пожирал его своими детскими глазами, как вдруг кто-то грубо прошептал мне на ухо:

—Возьми это яблоко, возьми! А не то я тебя поколочу!

Это не был змей-искуситель, это был страшный Граммон. Его железная рука прижала меня к решетке. Что происходило тогда в моей невинной душе? Я не осмеливался... Но страх и соблазн восторжествовали. Уступая настоятельному требованию моего врага и невзирая на украшавшее меня отличие, я протягиваю трепещущую руку и робко схватываю роковое яблоко. Но едва преступление совершилось, Граммон хватается меня за шиворот, кричит: “Держите вора!”—и предъявляет сбежавшемуся пансиону неопровержимую улику. Какой срам! Образец благонравия—и такой проступок!

Меня повели к учителям. Смущение мое было так велико, что я не слышал, какой приговор они изрекли. Думаю, что дурная слава моего обвинителя,—его ненавидели и ученики и учителя,—да чьи-либо показания в мою пользу раскрыли глаза судьям.

Так или иначе, мне возвратили крест, которого лишил было меня Граммон. Не это ли происшествие, стоившее мне столько слез, стало причиной моего отвращения к яблокам и предубеждения к крестам?

Не однажды смеялся я впоследствии, вспоминая об этом приключении своего детства! Что касается Граммона—счастлив был бы он, если бы ограничился только такими проделками!

Спустя четыре года я узнал, что он вместе со своим отцом стал одним из вождей революционной армии, покрывшей кровью и развалинами департамент Уэст; отец и сын проявили столько жестокости, что Комитет общественного спасения, примера ради, отправил их на ту самую гильотину, которую они возили с собой в обозе своей армии.

Я услышал об этой смерти с ужасом. Уже и до этого испытал я, какое впечатление производила на меня пролитая убийством кровь. В октябре 1789 года, в свободный от занятий день, я переходил улицу вместе с одной из моих теток. Вдруг мы очутились в толпе мужчин и женщин, на которых страшно было глядеть. Они несли на длинных пиках головы королевских гвардейцев, умерщвленных в Версале⁷. При этом зрелище я

почувствовал такой ужас, что до сих пор еще- вижу одну из этих окровавленных голов, пронесенную мимо меня. И я благословлял небеса за то, что оказался далеко от Парижа во времена террора.

Вскоре моему отцу, с некоторого времени ставшему нотариусом в Дюртале, надоело платить за меня в пансион, и он отослал меня в городок Перонну.

Деревенский кабак в окрестностях был местом его рождения; это, однако, не мешало отцу предъявлять претензии на дворянство. Он подтверждал свои права глупейшими семейными преданиями. И, опираясь на них, он прибавил к моему имени в свидетельстве о рождении феодальную частицу *де*, которой украшал и свое имя; мать моя, хотя и заведомо дочь портного, дорожила ею не менее, чем он. Следует сказать в оправдание моего отца, что это было слабостью многих отцов семейств. У деда были те же претензии, несмотря на то, что он, будучи брошен своим отцом (вторично женившимся в Англии под именем Беранже де Формантель), всю жизнь оставался кабатчиком.

Эти притязания на дворянское происхождение все еще очень распространены во Франции. Я знал одного пикардийского небогатого буржуа, утверждавшего с большой самоуверенностью, что он состоит в родстве с Бурбонами. Но тут по крайней мере было хоть о чем помечтать.

Что же касается меня самого, то я решился,—и то по совету Арно⁸,—прибавлять к начальным буквам моих крестных имен⁹ и к фамилии частицу *де* только тогда, когда мне стали приписывать плохонькие стишки некоего Беранже, автора “Провансальских вечеров”, напечатанных где-то в альманахе; так я заодно устанавливал различие между моей подписью и подписью нескольких Беранже, писавших в те времена. Один из них сочинил стихи на рождение римского короля,—их опять-таки стали приписывать мне. Я не протестовал на этот раз, но написал несколько писем в “Котидьен” для ограждения интересов того Беранже, мне очень хотелось, чтобы его не считали виновником моих злосчастных стихов. “Котидьен” не обратил никакого внимания на это свидетельство, и в литературе стало одной дворянской частицей *де* больше. Во времена Реставрации некоторые друзья мои пожелали, чтобы я отказался от этого *де*. Но у меня было достаточно веры в свои убеждения, чтобы не доказывать их таким ребяческим способом. В наследство от моего отца я только и получил, что генеалогическое древо, к которому нам недоставало лишь законных документов, исторической достоверности и всяческого правдоподобия.

Но возвратимся к моей поездке в Пикардию.

Отец отправил меня туда в дилижансе к одной из своих сестер, бездетной вдове, Не предварив ее ни единым словом. И вот я приезжаю, в сопровождении старушки родственницы, в трактир “Королевская шпага”, который тетка держала на окраине Перонны,—это было все ее достояние. Я вовсе не знал ее. Она встретила меня в крайнем замешательстве, прочитала письмо моего отца, в котором он поручал меня ее заботам, и сказала моей родственнице:

—Я никак не могу принять его на свое попечение.

Живо представляю себе эту минуту.

Дедушка мой, разбитый параличом, оставил свои дела и не в силах был меня содержать. Отец сбрасывал с себя бремя моего воспитания. А матери не было до меня никакого дела. Мне шел только десятый год, но я уже глубоко чувствовал это всеобщее отчуждение. Что же будет со мною? При таких обстоятельствах рассудок быстро созревает у тех, кого природа хоть немного наделила им.

Выросши, я стал некрасив, но в детстве был прехорошеньким мальчиком. И часто я говаривал потом себе, что за это мне следует благодарить провидение. Красота первых детских лет оказывает влияние на всю последующую жизнь, хотя бы потому, что она вызывает улыбки окружающих—в возрасте, когда так нуждаешься в поддержке и в сочувствии. Я вовсе не хочу уменьшать достоинств моей тетушки, но помню, как, взглянув на меня украдкой, она вдруг взволнованно и нежно обняла меня и сказала с навернувшимися на глаза слезами:

—Покинутый бедняжка, я заменю тебе мать!

И она отлично исполнила это обещание.

Не так давно я потерял эту превосходную женщину. Она умерла восьмидесяти шести лет от роду, продиктовав для себя следующую эпитафию:

Она никогда не была матерью, но оставила детей, которые ее оплакивают.

Ее племянник-поэт не сумел бы сказать лучше. Но да позволено будет ему написать здесь несколько слов в похвалу той, которая была ему настоящей матерью.

Обладая от рождения незаурядным умом, она восполнила пробелы образования чтением хороших и серьезных книг. Чуткая ко всему выдающемуся, она и в последние годы своей жизни интересовалась новыми открытиями, успехами промышленности и даже украшением столицы. Она отличалась живой впечатлительностью, и революция сделала из нее настолько ревностную республиканку, насколько это не противоречило ее человеколюбию. И она всегда умела соединять любовь к отечеству с религиозностью, которая многим экзальтированным душам прививается не воспитанием, а достается в удел от природы.

Такова была та бедная трактирщица, которая взяла меня на воспитание в мои отроческие годы.

Она окончательно выучила меня читать по “Телемаку”¹⁰, Расину и пьесам Вольтера, составлявшим всю ее библиотеку. Дело в том, что если я уже знал почти наизусть две эпические поэмы¹¹, то читал их еще только глазами, не будучи в состоянии произнести вслух двух слогов подряд, так как не имел ни малейшего понятия о сочетании звуков.

И, наконец, старый школьный учитель научил меня писать и считать правильнее, чем я до него выучился самоучкой.

Вот и все науки, которые я тогда прошел. У моей тетки не было средств дать мне более блестящее образование, тем более что и коллеж в Перонне закрылся. Но она охотно поощряла бы мою необычайную склонность к рисованию, если б не тот же недостаток средств.

Зато тем больше обращалось внимания на воспитание моральных качеств посредством всякого рода наставлений, которые она умело связывала с любым предметом, приспособляясь к моему пониманию и сообразительности, довольно быстро развивавшимся до двенадцатилетнего возраста.

Моя наставница даже считала нужным спрашивать иногда мнение своего воспитанника. Таким образом, вот, пожалуй, уже пятьдесят лет, как я даю советы другим. И кажется, я самой судьбой предназначен к этому глупому ремеслу, столь малоприбыльному как для того, кто получает советы, так и для того, кто их дает.

Могут спросить, не избавлял ли меня самого от ошибок этот скороспелый разум? Увы, нет. Но этот разум научил меня с детства помнить о моих малейших ошибках. И ему-то я обязан тем, что даже в настоящее время, не слишком краснея, припоминаю замечания

моей наставницы.

Расскажу сейчас об одном случае. Он даст понятие о тех средствах, которыми пользовалась моя тетка, чтобы внушать мне свои принципы.

В эпоху террора некоторые из ее друзей, проживавшие в соседнем селе, были арестованы и приведены ночью в Перонну для заключения в тюрьму. Когда они проходили мимо нашего трактира, им позволили поговорить с моей теткой. Шум этого посещения не разбудил меня; утром же, не говоря мне ни слова об этом аресте, она повела меня с собой в город; я с удивлением увидел, что она направляется к тюрьме. Собираясь постучаться в тюремную дверь, она сказала:

— Дитя мое, мы увидим сейчас с тобой честных людей, хороших граждан, лишенных свободы из-за клеветнического обвинения: я хочу, чтобы ты узнал, каким преследованиям подвергается добродетель во времена политических волнений.

Подобные уроки, данные при таких обстоятельствах, глубоко и навсегда западают в молодой ум.

Дан был мне и другого рода урок. Покуда церкви в стране оставались отпертыми, тетка ходила туда со мною сама или же неукоснительно посылала меня одного. Она даже велела мне прислуживать во время обедни знакомому священнику, которого мне потом часто напоминал брат Жан дез Антомер¹². Пришлось заняться церковной латынью. Но, странное дело, несмотря на превосходную память, я никогда не мог ничего выучить по-латыни наизусть; даже при первом моем причащении кюре, нарушая установленные правила, принужден был позволить мне читать молитвы по-французски.

Однако возвратимся к моим обязанностям церковного служки.

Я исправлял их очень неискусно, искажал и перепутывал ответы на возгласы священника и очень неловко подавал сосуды; аббат вовсе не был придирой, но, заметив однажды, что недостает освященного вина, он обозвал меня словечком, в котором не было ничего священного. Наскоро закончив обедню, он ушел в ризницу и поклялся, что отныне лишит меня чести прислуживать у алтаря. Но я и не испытывал ни малейшей охоты возвращаться к этим обязанностям.

Гораздо больше мне нравилось слушать разговоры о политике.

Бесполезно рассказывать обо всех обстоятельствах, объясняющих, почему я, будучи столь юным, с таким участием относился к судьбам нашей великой революции и почему так горяч был мой патриотизм.

Помню, с какой печалью и тревогой мы узнали о вторжении коалиционных армий, передовые отряды которых прошли Камбре! Вечером, сидя у ворот нашего постоянного двора, мы прислушивались к грому пушек англичан и австрийцев, осаждавших Валансьен, в шестнадцати лье от Перонны.

Мой ужас перед нашествием чужеземцев возрастал с каждым днем. Но с какой радостью слушал я вести о победах республики! Когда пушки возвестили о том, что мы отбили Тулон, я был на валу. С каждым выстрелом сердце мое билось сильнее, так что я вынужден был сесть на траву, чтобы перевести дыхание.

Теперь, когда патриотизм в нашей стране дремлет¹³, эти волнения ребенка могут показаться странными. Не менее удивительным покажется то, что и в шестьдесят лет я все еще сохраняю эту патриотическую восторженность и что мне нужно собрать всю силу моей любви к человечеству и весь запас разума, обогащенного жизненным опытом, чтобы удержаться от проклятий по адресу народов, наших соперников, от проклятий, которые я так расточал в пору моей молодости.

Это пылкое чувство—тем более пылкое, что оно рано развилось во мне, как и другие чувства,—оказало влияние на все, вплоть до моих литературных суждений. Друзья удивлялись иногда моему равнодушию к Вольтеру, хотя я и уважал его как преобразователя и восхищался чудесной плодовитостью его могущественного гения. Эта холодность к некоторым его сочинениям возникла у меня еще до того, как стала распространенной во Франции: она восходит к той эпохе, когда я, еще юноша, заметил в Вольтере несправедливое предпочтение к иностранцам; впоследствии же я чуть не возненавидел его¹⁴, прочитав поэму, в которой он глумится над Жанной д'Арк—истинным божеством патриотизма, предметом моего обожания с детских лет. Разумеется, я теперь не осмелился бы так говорить, если б когда-либо позволил себе надругаться над Наполеоном, умиравшим в плену у англичан.

Да простят мне читатели, что я так много пишу о моей любви к родине, любви, которая была величайшей, я сказал бы даже—единственной страстью всей моей жизни.

Здоровье мое в Перонне, кроме лихорадок и все усиливавшихся головных болей, не подвергалось особенным напастям, исключая одной, которая могла оказаться гибельной.

В мае 1792 года я стоял на пороге дома, наблюдая заканчивавшуюся грозу. Вдруг загремел гром, и возле меня ударила молния, оглушив меня и повалив на пол без дыхания. Густой дым наполнил весь дом, молния разрушила его внутри и повредила самый щипец крыши. Тетка, помня только обо мне, замертво распростертом на полу, хватает меня на руки и выносит на воздух, под дождь. Окруженная сбежавшей толпой, она щупает мой пульс, слушает сердце, тщетно ищет признаков жизни и кричит: “Он мертв!”

Я слышал ее вопли задолго до того, как мог пошевелиться и вымолвить хоть слово для ее успокоения. Мало-помалу придя в себя, я ласково ответил на проявленную ею радость, но не мог удержаться от замечания ребенка-резонера—замечания, за которое потом так часто упрекала меня тетка, прибавляя всякий раз: “Тут я поняла, что ты никогда не будешь набожным христианином”. Я уже сказал, что она была искренне религиозна. Когда собиралась гроза, тетка обычно кропила весь дом святой водой. “Это для того, чтобы уберечь нас от грома”,—говаривала она. Придя в себя и еще лежа на постели, принесенной соседями, я выслушал рассказ о том, что случилось, и воскликнул:

—Ну что, помогла нам твоя святая вода?

Долго я не мог оправиться от этого ужасного удара. Мое зрение, до тех пор чрезвычайно хорошее, казалось очень пострадало, и мне уже нельзя было поступить в ученье к часовых дел мастеру. А я так хотел стать часовщиком! Это занятие так подходило мне, отличающемуся большой ловкостью в работе. Да, нужно было непременно овладеть каким-нибудь ремеслом,—как видите, и я опирался на всем известную фразу Руссо¹⁵.

Тетка моя тоже чувствовала, что если я буду только помогать ей содержать трактир, то это вовсе не обеспечит моей будущности. К тому же она видела, как страдало мое самолюбие, когда я прислуживал за столом или шел в конюшню. И она находила, что мое хрупкое телосложение не позволяет мне заниматься какой ни попаало работой.

Для первого опыта я поступил к золотых дел мастеру. Но мне пришлось иметь дело с плохим мастером: он посвятил меня во все тайны своих любовных похождения, а научился я у него лишь кое-как обрабатывать медь.

Из его заведения я перешел на должность посыльного к нотариусу, ставшему мировым судьей. Этот судейский чиновник, друг моей тетки, ум которой он ценил, осыпал меня знаками благоволения, и память о нем стала для меня одним из приятнейших

воспоминаний юности.

Господин Баллю де Белленглиз, ревностный ученик Руссо и горячий сторонник революции, был избран в Законодательное собрание. А когда окончились его полномочия, он возвратился в Перонну и учредил там бесплатные начальные школы по принципу, достойному, пожалуй, серьезного изучения.

Желая воспитать не столько ученого, сколько человека, г-н де Белленглиз предоставил своим питомцам самым блюсти дисциплину. Они избирали из своей среды судей, окружных членов, мэра, муниципальных чиновников и мирового судью, — и те обязаны были действовать сообразно потребностям этого общества мальчуганов, из которых старшему было не более пятнадцати лет.

У нас было войско, — в него зачислялись все ученики, — с подразделениями стрелков, гренадер и артиллеристов, при выборном командном составе. ..Во время прогулок мы носили пики и сабли и возили зарядный ящик с маленькой пушкой, — нас научили, как следует с нею обращаться. И если нам не хватало ружей, то потому только, что их тогда не успевали достаточно изготовлять для двенадцати армий, защищавших республику.

У нас был также и клуб, — его заседания привлекали толпу пероннцев всех возрастов.

Что касается учебных занятий, то латинский язык был изгнан, хотя основатель школы был ученый латинист. Вопреки его советам мы мало обращали внимания на изучение грамматики родного языка. Ее преподавал нам старый священник, для которого это заведение послужило полезным убежищем во времена смут.

Гораздо привлекательнее уроков языка были для нас республиканские песни. А так как в моей семье пели решительно все, то надо полагать, что в ту пору у меня и развился вкус к песне.

Тогда же я приобрел навык говорить публично; то и дело избираемый председателем нашего клуба, я обязан был выступать с приветствиями членам Конвента, проезжавшим через Перонну, и произносить речи своего сочинения во время национальных празднеств, на которых мы играли заметную роль. Да еще, при исключительных событиях, мне поручали составлять адреса Конвенту и Максимилиану Робеспьеру.

Отвлекаясь от этого самовольного вторжения мальчуганов в высокую политику и от запущенности учебных занятий (двойное неудобство, порожденное тогдашним революционным кипением и оказавшееся непреодолимым для г-на де Белленглиза), следует сказать, что разработанный им план воспитания в сущности всего более отвечал потребностям граждан в той стране, где избирательные принципы были столпом всей системы управления.

Наш Ликур¹⁶ распространил метод своего воспитания даже на девиц, сообразуясь, однако, с их полом.

Внушать детям любовь к формам и принципам, принятым в том обществе, которое их ожидает как граждан, — значит упрочить на несколько веков установления, порожденные более или менее новыми принципами, на основе которых возникли эти формы. Это значит — развить раннюю опытность в детях, родившихся при новом политическом строе, и приучить их не только к исполнению, но и к серьезному изучению законов, которые ведь еще предстоит улучшать.

А разве наши учебные заведения не заняты только тем, что выпускают ничтожное количество ученых и множество школьников?

Людей — разве выходит оттуда много?

А граждан — об этом уж нечего и спрашивать.

Заведение г-на де Белленглиза просуществовало недолго: школу оклеветали, и она закрылась. Беда человеку, возвышающемуся над уровнем посредственности и осужденному жить в маленьком городке—особливо если он там же и родился! Наименьшее зло для него—не найти человека, кто бы его понимал. Но глупость и зависть употребят все усилия, чтобы доставить ему как можно больше врагов. У Белленглиза было их много, хотя он не подавал виду, что замечает их.

Этот человек был республиканский Фенелон¹⁷. Никогда не мог я себе представить, чтобы у автора “Телемака” был иной внешний облик, иной голос, чем у этого достойного друга моего детства. Выражение его лица, скромное и вместе важное, было необычно. Я помню его прекрасные глаза, бледное лицо, улыбку. Так и вижу его широкий темный кафтан до пят, с одним рядом пуговиц, и его широкополую круглую шляпу. Как он был представительен! Две маленькие собачки сопровождали его в уединенных прогулках, и он брал на руки то одну, то другую, если прогулка затягивалась. Дома, среди множества цветов, бесчисленные прелестные птицы развлекали его своим пением, не мешая ему ни работать; ни размышлять.

Господин де Белленглиз, посвященный во все науки, чуткий ко всем отраслям искусства, С большим успехом играл в комедиях, а еще большим в драмах—тогда еще совсем новом жанре драматургии. Он заронил в нас мысль начать заучивать роли и охотно репетировал их с нами. Речь его отличалась изяществом и лаконичностью. Мораль его была кроткой, и она проникала прямо в сердце. Он мог и не говорить: “Оставьте младенцев сих приходить к мне”, чтобы мы устремились за ним.

Родные мои часто повторяли, будто он, полюбив меня, предсказывал, что со временем я непременно стану выдающимся человеком. Но он не дожил до моей скромной известности. Он умер в Амьене, еще далеко не в преклонных летах, председателем палаты по уголовным делам департамента Соммы. Эта высокая должность причиняла ему много скорби. Так, например, ему однажды очень не хотелось осудить несчастного, который отомстил поджогом за несправедливый, но учиненный на законном основании грабеж. И он в открытом заседании так энергично выразил свое неодобрение хищнику, что тот, несмотря на все свои богатства, вынужден был покинуть департамент. Г-н де Белленглиз отвергал смертную казнь, и всякий раз, как первый консул проезжал через Амьен, он не пропускал случая указать ему на всю ее несправедливость и бесполезность.

Превосходный человек, истинный философ, судья снисходительный, богат нищелюбивый, да будет память твоя благословенна!

Он-то и определил меня в типографию, которую благодаря его поддержке книгопродавец Ленэ открыл в Перонне. Я пробыл там около двух лет, охотно занимаясь типографской работой, но нисколько не совершенствуясь в орфографии. Наука эта никак не давалась мне, несмотря на все старания сына Ленэ, который, хотя и был несколько старше меня, очень скоро сделался моим другом и старался научить меня основным правилам родного языка. Но достиг он только того, что с его помощью я приобщился к законам стихосложения. Не скажу, чтобы именно он приохотил меня к сочинению стихов: я любил заниматься этим уже давно. Двенадцати лет от роду, еще не подозревая, что стихи подчинены какому-то ритмичному размеру, я—худо ли, хорошо ли—нацарапывал рифмованные строчки, которые были все одинаковой длины благодаря двум вертикальным чертам, проведенным карандашом на листе бумаги, и был уверен, что пишу стихи такие же правильные, как у Расина. Однако, познакомившись с вольными стихами Лафонтена, я стал наконец подозревать, что в моем методе не все благополучно.

Тетка моя вышла замуж по второму разу за некоего г-на Бувэ, человека просвещенного и ума, быть может, даже выдающегося, но со странностями, которые прояснили мне характер Руссо. Да он и в самом деле приближался к нему как по своим идеям, так и по манере выражаться, не лишенной иногда истинного красноречия.

Он пытался учить меня французскому языку, но тоже тщетно. Менее чем кто-либо другой мог он оказывать на меня влияние, потому что, рано выучившись самостоятельно судить об окружающих меня людях, я скоро заметил, что моя тетка с ним несчастлива; я заранее предсказывал ей это, пытаясь отговорить ее от замужества. “Мне следовало послушаться тебя”, — часто повторяла мне потом бедная женщина.

В то время как она прививала мне республиканские убеждения в городе, предохраненном Андре¹⁸ Дюмоном¹⁹ от убийств, которые в нескольких милях оттуда заливали кровью Аррас (там царил свирепый Лебон), — отец мой получил в Бретани место управляющего у графини де Бурмон, — ее сын теперь маршал. И вот моего отца арестовали как федералиста, и он попал в список ста тридцати двух жителей Нанта под именем Беранже де Мерси. Родные мои скрыли от меня и его арест и страдания, перенесенные им до освобождения, которое произошло в судебном порядке после девятого термидора.

Когда отец навел нас в 1795 году, он был весьма озадачен различием моих мнений и своих собственных: он был самым ревностным роялистом. Моя молодость внушила ему мысль, что нетрудно будет повлиять на мои убеждения. Но скоро он увидел, что имеет дело с завзятым спорщиком, не поддававшимся ни на его уговоры, ни на ласку. Рассердясь, он завел с теткой в моем присутствии разговор, которого мне не забыть, потому что она часто со смехом напоминала мне о нем.

— Сестра, — сказал он ей, — этот ребенок заражен якобинством.

— Лучше скажи, брат, вскормлен республиканскими воззрениями. У нас якобинство — пустой звук.

— Якобинец или республиканец — это для меня одно и то же. Мальчишке привиты самые вредные взгляды.

— Они принадлежат мне и всем лучшим гражданам.

— Как это ты, при всей твоей религиозности, могла допустить, чтобы он получил первое причащение от священника²⁰, присягнувшего государству?

— Неужели лучше было дожидаться закрытия церквей и запрещения деятельности священников, что вскоре и случилось?

— Да, лучше, — ко благу религии, которая возродится вместе с королевской властью.

— До чего, братец, я люблю слушать, как ты, ни во что решительно не веруя, рассуждаешь о религии!

— Сестра, мы, аристократы, должны стоять за трон и алтарь. Служа им, я больше года таскался по тюрьмам и, не будь особенной милости божией, умер бы на эшафоте.

— Скажи лучше, что тщеславие заставило тебя присоединиться к людям, несколько тобой не дорожившим. Но довольно спорить об убеждениях, пусть они будут свободны, возвратимся к твоему сыну.

— Так что же ты хочешь, чтобы я для него сделал?

— То же, что ты делал до сих пор. Вчера, глядя, с какой уверенностью он председательствует в своем клубе, ты слушал, как жарко и трогательно говорил он об отечестве, и когда рукоплескания прерывали его речь, у тебя на глазах были слезы.

—Я не отрицаю его способностей, сестра. Но, будучи убежденным роялистом, могу ли я не опасаться того, как он вздумает их употребить?

—Он употребит их на службу республике.

—Боже мой! Неужели ты не хочешь ничего понять? Вашей республике осталось жить всего полгода. Я уже говорил тебе: наши законные государи скоро возвратятся к нам. Один из тех, кто подготавливает в Париже их возвращение, граф де Клермон-Галлеранд²¹, недавно опять уверял меня в этом. Того же мнения и молодой граф де Бурмон²², который сражается за королевский дом в Бретани. Через полгода, повторяю тебе, мы сможем броситься к ногам Людовика Восемнадцатого.

—Кто он такой, этот Людовик Восемнадцатый?

—Это твой король, сестра, мой король, король Франции и Наварры со времени кончины Людовика Семнадцатого. Неужели ты не знаешь, что этот последний—молодой и несчастный государь—умер в Тампле жертвою омерзительнейшего обхождения?

—О, не говори! Я часто оплакивала судьбу этого бедного ребенка. Но что же за дело до этой смерти его дядям и главное—твоему сыну?

—А такое дело, что когда Бурбоны возвратятся, я надеюсь пристроить сына в число пажей его величества.

—Право, Беранже, ты сумасшедший! Если, по несчастью, к нам возвратится эта династия, вооружившая всю Европу против Франции, неужели ты полагаешь, что и последний из ее членов удостоит тебя малейшего внимания?

—Конечно, да. Я докажу свои права на дворянство.

—Опять эта чушь! Не забывай, что ты родился в деревенском кабаке. Наша добрая мать была служанкой, что вовсе не мешало ей обладать здравым смыслом. Эта достойная женщина, правда, соглашалась иногда шутки ради, что в жилах твоих и твоего отца течет дворянская кровь: “Ведь мой муж,—говаривала она,—бездельничал всю жизнь и напивался пьян вином из своего кабака, как добрый деревенский помещик. А сын мой не может жить без долгов, словно аристократ”.

—Сестра, все эти твои рассказы не мешают моему сыну, который после меня станет главой рода, сделаться пажом его величества.

—Твой сын никогда не захочет стать лакеем.

—Королевского пажа ты называешь лакеем? Этой чести добиваются знатнейшие дома!

—Это успокаивает меня за его судьбу.

—Сестра, клянусь тебе, что когда Бурбоны возвратятся, я представлю своего сына нашим превосходнейшим принцам.

—Берегись, чтобы он не спел им марсельезу.

Не подумайте, что я сочинил этот диалог. Последующие разговоры отца сотню раз напоминали мне все оттенки его тогдашних выражений.

Вскоре после этого я переехал к нему в Париж, где наконец он поселился, вновь сойдясь с моей матерью. Он стал заниматься разными биржевыми операциями,—надо же было чем-нибудь жить в ожидании возвращения Бурбонов.

Я часто мечтал о жизни в Париже—городе, который невозможно забыть, хотя бы ты покинул его в самые юные годы. Но в минуту расставания с теткой я был очень взволнован. Мудрыми советами, которыми она, плача, напутствовала меня, я был растроган до слез и проплакал почти всю дорогу, а ее в то смутное время дилижансы проезжали за двое с половиною суток. Способность к предвидению (качество, которое я

почти готов назвать недостатком), редко покидавшая меня, заставляла меня и в пятнадцать лет предчувствовать грядущие превратности моей новой жизни.

Я знал, что отец, несмотря на всю свою доброту, не может быть для меня руководителем, и я рано почувствовал необходимость стать что называется мужчиной. Но такая мысль пугала меня,—это может показаться странным, но так оно и было. И вот необыкновенное доказательство тому: меня до того тяготила мысль, что надо же наконец когда-нибудь стать и казаться мужчиною, что, услышав однажды, будто при постоянной стрижке бороды она не растет такой густой, как при ее бритье, я не стал употреблять бритвы в молодости и даже до сих пор стрижу бороду ножницами.

Чем я занимался в Париже?

Увы! Я сделался, подобно отцу, большим искусником в денежных операциях. Способность к вычислениям внезапно развилась во мне, хотя я никогда не мог принудить себя следовать определенным правилам. Во всяком труде я умел находить свои собственные приемы, и вот я с удивительною быстротою привык считать в уме.

Бедствия того времени вынуждали моего отца хвататься за всевозможные дела. Известно, с каким трудом устраивались тогда всякие сделки и какой беспорядок внесла общественная неурядица во все учетные и банковские операции. Отец же мой усмотрел в этом средство избавиться от нужды и нашел здесь поле для своей деятельности.

Обещание ассигнаций сильно подняло стоимость звонкой монеты. Мы доставали ее за два с половиною и даже за три процента и все-таки получали барыши. Я все еще оставался ребенком, и это ремесло сначала забавляло меня, может быть, потому еще, что тут был простор для моей сообразительности, так восхищавшей отца. Но, как и можно было предвидеть, это недолго служило мне забавою. Вскоре я достаточно познакомился с существом наших операций—и они опротивели мне.

Отец, изумленный быстрым расширением своих дел, не был ни жаден, ни недоверчив. Первый встречный мог воспользоваться его добротой, только сумеи пустить слезу или польстить. Я старался доказать отцу, что это вовсе не идет к его профессии. И вскоре я, в семнадцать лет, принужден был один вести его дела. Это было в то время, когда я только что лишился матери, с которой провел не более десяти месяцев. Нужда заставила ее сойтись с отцом, но она редко жила с ним в добром согласии. Она не хотела взять к себе мою сестру, жившую в деревне у друзей. Ее равнодушие ко мне было весьма извинительно. Бюффон²³ сказал, что мальчики во многом похожи на матерей,—но едва ли когда-нибудь сын менее походил на свою мать и в физическом и в духовном отношении. Она хотела сделать из меня щеголя—мюскадена, как говорили тогда, но это решительно противоречило моим наклонностям. Всевозможные безрассудства ускорили кончину моей матери, она не дожила до тридцати семи лет.

Отец мой оставался все тем же роялистом и по-прежнему был глух к моим увещаниям насчет его политических взглядов и к замечаниям относительно его финансовых оборотов. Вскоре после смерти матери он дал вовлечь себя в заговор²⁴ Бротье и Вилльернуа, таким странным образом раскрытый генералом Мало.

В нашу фирму поступали деньги из Лондона, где их всегда можно было достать для поддержки врагов Франции. А я, бедный маленький патриот, принужден был тайно доставлять это золото заговорщикам. Но мне казалось, что они, к моему большому облегчению, употребляли его более на собственные нужды, нежели на выполнение своих планов. Должен прибавить, что никогда еще заговорщики-роялисты не были так дешевы: эти удовольствовались всего двумястами тысяч франков.

Граф де Бурмон, скрывавшийся в Париже, вероятно для того, чтобы стать в случае удачи во главе восстания, казался мне единственным во всей партии стоящим человеком, хотя он был еще так молод, что его можно было принять за переодетую девушку. Я навещал его на улице Марэ-дю-Тампль, где он нашел верное убежище среди обширных садов. Я удивлялся его смелости и умению сбить с толку полицию.

Что же касается других заговорщиков, то они служили мишенью для моих эпиграмм, которые были довольно метки и забавляли даже моего отца.

Открытие этого заговора послужило причиной ареста как моего отца, так и тех, кто возглавлял заговор или был рядовым его участником. Военный суд судил их всех, но отец был освобожден за отсутствием достаточных улик.

Вынужденный в пору его заключения заменять его в делах, я заключил сделок почти на двести тысяч франков. Тогда-то, восхищенный моими финансовыми талантами, он предсказал, что со временем я стану первым банкиром Франции. Так он утешал себя на тот случай, если я не буду пажом Людовика XVIII.

Не он один из роялистов старался вознаградить себя денежными оборотами за неудачи политические. Люди высшего света вступали с нами в деловые отношения. Некоторые из них, правда, удовлетворялись скромной ролью наших должников, притом не из числа исправных; кое-кто вовсе не заплатил. Отец мой, подобно г-ну Журдену²⁵, тщеславился такими должниками, а они унижали себя до того, что делались его льстецами в надежде на всякие блага. Я сам видел, что некоторые даже помогали ему одеваться.

Выше я упомянул уже о г-не де Клермон-Галлеранде. Этот господин казался мне полным достоинства. Он прибегал к нашим услугам только по делам биржи, неизбежным в то время почти для всякого. Граф, которого я видел лишь несколько раз, казался мне человеком умным и твердым. Он играл тайную роль в дни вандемьера²⁶, к которым так причастен был роялизм, в дни, когда благодаря генералу Бонапарту восторжествовал Конвент. По окончании своих первых итальянских походов генерал расположился в отеле Шантерен. Из апартаментов г-на де Клермона, прилегавших к этому отелю, я впервые увидел его, когда он пересекал вдали аллею.

—Какой великий воин!— сказал я графу.

—Да, но республика его убьет, если он не убьет республику.

—Он провозгласит себя диктатором.

—Это предсказание школьника, молодой человек. Для таких республик, как эта, достаточно нескольких взмахов метлы, чтобы очистить место законным государям.

—Уж не думаете ли вы, господин граф, что Бонапарт захочет стать дворником?

Граф помолчал, а затем ответил:

—Он дворянин. Он воспитывался вместе с такими людьми, как мы: это навсегда оставляет след. Да наконец и Директория не позволит ему возвыситься.

Я кое-что знал в истории, чтобы видеть, что г-н де Клермон готовит герою итальянских походов роль Монка²⁷. Не один он ласкал себя этой надеждой, даже во времена Консульства.

Как видите, я попал в милую школу “божественного права” и, кажется, проявил достаточно упрямства, так как отнюдь не стал ее горячим приверженцем.

Разговор этот напоминает мне другой, подобный этому и состоявшийся в те же времена.

Отец мой упрасивал всех своих знакомых учить уму-разуму такого республиканца, как я. Особенно полагался он в этом отношении на шевалье де ла Картери, человека пожилого, которого моя болтовня чрезвычайно забавляла. Однажды, когда я с ним заспорил, он тоже начал мне проповедовать о моих “законных государях”. Уставши слушать все одно и то же, я сказал:

—Да растолкуйте же мне, сударь, что это за люди, относительно которых даже их приверженцы не во всем согласны?

—О ком это вы говорите, мой молодой друг?—прервал меня с важностью старый шевалье.

—Да о вашем Людовике Восемнадцатом, о графе д’Артуа²⁸, об их сыновьях.

—Ах, так вы о них! Но ведь это же династия узурпаторов.

—Это-то и смущает меня. Как же так? Эти властители, для которых жертвуют собой столько дворян, столько вандейцев,—всего лишь узурпаторы?

—Настоящие узурпаторы, мой друг, и они отлично знают это сами.

—Вразумите же меня, прошу вас. Я тут ровно ничего не понимаю.

—Еще бы! Выслушайте меня, и вы увидите, в какое заблуждение ваши роялисты ввели вас. Прежде Людовика Четырнадцатого и брата его, герцога Орлеанского, у Анны Австрийской родился сын, известный под именем Железной Маски. Его-то права и были благодаря обману переданы незаконнорожденным детям королевы.

—Но разве Железная Маска был более законным сыном?

—Да, именно он и был сыном Людовика Тринадцатого. Но Анна Австрийская, всегда подозреваемая своим мужем, рассчитала, что король, из-за происков Ришелье, может усомниться в своем отцовстве по причине редких отношений со своей царственной супругой. И она согласилась скрыть своего первенца, вследствие данных ей обещаний, что на будущее время она вступит во все права супруги и что не будет более причин подозревать незаконность детей, которые у нее родятся. Ришелье, притворившийся, в своих видах, влюбленным в королеву, вскоре узнал о ее любовных интригах. Допустивши скрыть своего первенца, Анна уже не могла поправить свою ошибку, которая поставила ее в полную зависимость от фаворита. Так-то вот, мой друг, незаконные дети и унаследовали трон Генриха Четвертого.

Хотя я в то время не очень-то был силен в истории, но все же мог бы и тогда сделать несколько возражений по поводу романтической стороны этого рассказа. Но я воздержался, ограничившись замечанием, что притязания истинных роялистов были бы основательны только в том случае, если б Железная Маска оставил после себя наследников.

—По милости божией, он и оставил их,—ответил г-н де ла Картери.—Знайте же, что сначала он воспитывался в Нормандии, где за ним надзирали не очень-то строго. Лет двадцати он тайно женился на молодой девушке дворянского происхождения. От нее у него родился сын, которого несчастный не знал, потому что с самой своей женитьбы подвергся суровому заключению, столь его прославившему. Его супруга только тогда узнала, какой он крови, и сочла необходимым скрыть от света дитя, рожденное от него, опасаясь, чтобы с сыном не поступили так же, как с отцом, или того хуже. Это дитя, воспитанное с особенным попечением, не ведало о своих правах до тех пор, пока оно не пришло в такой возраст, что могло сохранить тайну, которая и была ему передана со всеми документами, засвидетельствовавшими достоверность событий, о коих я сейчас вам рассказал. И это наследие переходило к старшим в роде преемникам, от поколения к

поколению, до настоящего дня.

— Кто же теперь счастливый смертный, пользующийся такой честью?

— Это человек лет около тридцати, который носит имя де Верной и обитает в одном из замков Бретани. Многие из его верноподданных считают своей обязанностью навещать его там. Он пользуется уважением даже тех, кто не знает о его королевском происхождении: ум, образование и величественная осанка выделяют его из ряда обыкновенных смертных. Во времена террора даже революционеры покровительствовали ему, и он спокойно пережил грозу, которой было суждено освободить его от самых злейших врагов.

— Когда же он думает воспользоваться своими правами?

— Погодите, погодите. Кажется, явился уже человек, который предназначен судьбой возвратить ему трон.

— Уж не Бонапарт ли?

— Разумеется, и он вовсе не то, что о нем думают, вот увидите.

История Железной Маски слишком часто занимала меня, чтобы мне захотелось посмеяться над простодушием старого шевалье, который объяснил мне эту необъяснимую историю. Но я воспользовался ею в моих нескончаемых спорах с отцом, и это мне больше всего доставило удовольствия. И в самом деле, при первой же его проповеди в пользу наших “законных государей” я пустился излагать эту чудесную историю перед моим отцом и еще несколькими роялистами, которых я нарочно поджидал с большим нетерпением.

— Какая глупость! вскричал мой отец. — Кто это мог выдумать такую сказку?

— Господин де ла Картери.

Бедняга был ошеломлен.

— Как! — сказал отец. — Он, обещавший мне излечить тебя от мании республиканизма?

Его друзья, видя, как он обманулся в своих ожиданиях, объявили старого шевалье сумасшедшим. Но они ошибались. Позже я узнал, что он принадлежал к секте илюминатов, основанной Сведенборгом²⁹ и преобразованной во Франции Сен-Мартеном³⁰, сильно умножившим число ее сторонников. Казотт³¹, автор “Влюбленного дьявола”, говорят, был одним из ее ревностнейших последователей. У многих французских илюминатов были те же политические идеи, что и у моего шевалье. А один из них так даже предсказал мне в 1806 году падение Наполеона, потому что тот не исполнил возложенного на него богом призвания возвратить трон Франции потомкам Железной Маски. Смейтесь же после этого над деревенскими предрассудками, когда в просвещенном обществе вы встречаете людей, подверженных подобным бредням!

Вероятно, никому не покажется странным, что я в течение многих лет старался узнать, кто же такой в самом деле этот господин де Верной.

Долго я не мог напасть на его след. Наконец одна достойная доверия особа сообщила мне, что знала или, лучше сказать, видела его в Бретани. Это был в самом деле человек, наружность которого в значительной степени соответствовала портрету, нарисованному де ла Картери. Этот г-н де Верной жил в весьма скромном замке, но, кажется, не без некоторого достатка благодаря легковерию своих приверженцев. А крутом поговаривали на ушко о его происхождении и о его правах. Кажется, во времена Империи над ним был установлен полицейский надзор. По крайней мере особа, со слов которой я сообщаю это, уверяла меня, что префекты нередко приглашали г-на де Вернона навещать их. Не восставая против вежливых приказаний, он подчинялся только в последней крайности, как тот, кому приходится поневоле склоняться перед людьми ниже его. Без сомнения, де

Верной, проникнутый мыслями, которые ему внушили, верил в свое происхождение, и он достоин несколько не меньшего уважения, чем всякие другие претенденты. Если его уже нет на свете, то он, вероятно, оставил наследников своей короны, в равной степени убежденных в правах Железной Маски на престол Франции.

* * *

Прусть не думают, что я говорю о некоторых сношениях наших со знатью с целью ослабить впечатление от того, что было тяжелого и отталкивающего в наших занятиях. Мы вели дела преимущественно с низшими классами и с бедняками.

Бедственное состояние государственного казначейства и чрезвычайное понижение ценности бумажных денег, вызывавшие такую огромную потребность при любых денежных операциях в звонкой монете, привели к тому, что ломбард (учреждение, которое при лучшей его организации могло бы стать гораздо полезнее) перестал быть прибежищем бедноты. И рабочий, чтобы раздобыть немножко металлических денег, притом на весьма тяжелых условиях, принужден был обращаться в частные ссудные кассы, а правительство поневоле их терпело.

Врожденное чувство сострадания могло только еще более развиваться во мне, когда я лицом к лицу сталкивался с такою ужасною нищетой, которую мы своей помощью делали еще ужаснее. Однако я рад, что могу воздать отцу должную справедливость: он не только предоставил мне полную свободу облегчать участь бедняков, но сплошь и рядом сам подавал пример человеколюбия. Сколько несчастных уносили от нас вместе с деньгами, которые мы давали им, и то платье, которое они снимали с себя, чтобы отдать его в залог. Добрая старая бабушка Шампи³² помогавшая нам, нередко говорила мне: "Тебя надувают". Эти слова она часто повторяла и тогда, когда я стал более опытен, но она не могла сделать меня глухим к стенаниям ближних.

В огромном числе бедняков, которых приходилось мне видеть в то время, мне посчастливилось встретить и старую работницу, присутствовавшую при моем рождении. Ее история совершенно не касается истории моей жизни, но она настолько типична для женщин этого класса, что ее стоит здесь рассказать.

Тетушке Жари, когда я вновь увиделся с нею, было по меньшей мере лет шестьдесят. Небольшие услуги, которые я оказывал ей, даже когда бедность сменила наш непродолжительный достаток, и ее услуги починка изношенного платья, забота о моем холостяцком хозяйстве—очень сблизили нас, и это продолжалось до самой ее смерти. Однажды, когда старушка убирала мою комнату, мне показалось, что она плачет.

—Что с вами, тетушка Жари?

—Ох, старая печаль щемит сердце. Простите меня.

—Садитесь и расскажите о вашей старой печали. Или опять квартирная плата—причина вашей тревоги? Нынче я богат.

—Нет, нет, дитя мое. На этот раз не в квартире дело. Но я никогда еще не рассказывала вам мою жизнь, мою жалкую жизнь. О, как она была печальна!

—Расскажите мне ее, тетушка Жари.

—Но вы, я вижу, пишете.

—Что ж за беда!

—Ну, так я расскажу. Может быть, вы мне поможете.

История Тетушки Жари

—Я была очень хороша собой, очень весела и большая хохотунья.

Мать моя, швея, научила меня своему ремеслу, и из меня вышла искусная работница. Мне было семнадцать лет, когда Жари посватался ко мне. Красивый малый, веселого нрава, он занимал какую-то должность при королевских конюшнях.

Это была удача!

Мать моя, по смерти сына, который был гораздо старше меня, стала прихварывать, ослабела, видимо предчувствуя близкую кончину. Заметив, что Жари мне нравится, она постаралась ускорить наш брак. В течение целого месяца это был счастливейший брак на свете. Но скоро Жари выказал себя тем, кем он был на самом деле: игроком, пьяницей и развратником. Мы жили в Версале. Он возвращался домой пьяный, бил меня и приводил с собою девок. Горе мое стало еще тяжелее с потерей матери, от которой я все скрывала, — и она умерла с утешительной мыслью, что я совершенно счастлива. Я и была бы счастлива, будь Жари иного поведения. Но он наделал долгов, потерял место и однажды, возвратившись домой, сказал:

—Нанетта, я уезжаю в Англию; там я постараюсь усовершенствоваться в ремесле конюшего.

—А я-то как буду жить?—воскликнула я.

—На вот тебе луидор,—ответил он.—Ты бережлива. Продай нашу мебель и домашнюю утварь, возвратись в Париж и работай. Выйди замуж, если хочешь. Я вышлю тебе из Лондона свидетельство о моей смерти.

Он целует меня и уходит. А я остаюсь, безмолвная, ошеломленная. С тех пор я о нем больше ничего не слыхала.

Нам, бедным людям, некогда вдоволь и поплакать. Я поскорее переехала в Париж, наняла крошечную каморку на чердаке и стала работать на портних.

Мне еще не было тогда восемнадцати лет, и меня томило одиночество. За работою я пела, но и то без удовольствия. Подруги моего детства разбрелись кто куда. Страх удерживал меня от новых знакомств. Но я все ждала, что судьба пошлет мне настоящего друга.

В доме, где я жила, против узкого окошечка моей каморки было точно такое же оконце. Однажды весною я заметила там молодого работника-портного, до того поглощенного своим делом, что во весь этот день—а я провела его без песен он ни разу не взглянул в мою сторону. Это был статный блондин, только уж очень бледный.

Назавтра, чуть рассвело, я увидела его за прежней работой. И он трудился все с тою же усидчивостью. Но на этот раз я осмелилась запеть, правда потихоньку. Он взглянул на меня, и мы поклонились друг другу. Потом начались встречи на лестнице. Потом—соседские услуги. И наконец между нами, бедными людьми, установилась полная близость.

Он был четырьмя годами старше меня и содержал своим трудом больную мать, которую посещал по воскресеньям и праздникам в Перонне. Вскоре взаимная любовь сделала нас неразлучными. И мы нашли, что гораздо экономнее жить общим хозяйством и тратить деньги из одного кошелька. Я часто просила в этом прощения у бога, которому мы молились вместе. Увы! Я сделалась беременна после нескольких первых месяцев этой счастливой связи—и одной радостью стало больше в нашем бедном уголке.

Мой друг только что лишился матери, которая, умирая, благословила нас, и мы зарабатывали достаточно, чтобы воспитать наше дитя.

В моей памяти все еще живы месяцы счастья, проведенные с этим добрым Полем Гоше. И больше не было в жизни месяцев, подобных тем, чтобы я могла позабыть их!

А несчастье уже подстерегало нас!

У Гоше давно болела грудь. Внезапно болезнь усилилась. Несмотря на всю его бодрость, я заметила, что он уже не может работать столько, сколько раньше; потом ему пришлось прибегнуть к помощи врача, а затем он вынужден был до полудня валяться в постели. Наши ничтожные сбережения исчезли. Затем стали расти долги. Белье, мебель, все пожитки были отданы в залог. Это бы все ничего, если бы только здоровье поправлялось. Но Поль слабел день ото дня, и когда мне настало время родить, мы еле-еле наскребли, чтобы заплатить повивальной бабке.

Бог даровал мне сына, прекрасного мальчика, но не дал молока, чтобы кормить его. Этим он хотел, видно, наказать меня за мою вину. Мы никак не могли отыскать кормилицы. Отчаяние отравило всю мою материнскую радость! И в довершение беды я медленно и с трудом оправлялась после родов. Мы не знали, как унять крики бедного дорогого малютки. Спустя три дня после его рождения Гоше, распростертый на матраце, вдруг быстро поднялся.

—Поддай сюда моего сына,—сказал он. Я уверен, что найду ему кормилицу в той деревне, где умерла моя мать. Побегу туда.

Не знаю, как достало у него силы встать и уйти со спеленатым ребенком на руках, которого я покрыла поцелуями и слезами.

По моим расчетам, он мог управиться с этим за день. Но он пришел спустя всего несколько часов и, задыхаясь, повалился на матрац, не произнеся ни единого слова. Несмотря на жар, начавшийся у меня, я кое-как дотащила до Гоше и уговорила его выпить остаток вина, который он приберегал для меня.

Наконец он пришел в себя. Но тут слезы полились по его бледному, изможденному лицу. Тайное беспокойство овладело мной.

—Где наш сын?—спросила я.

При этих словах слезы его хлынули с новой силой. Он сжал меня в объятиях слабыми руками.

—В воспитательном доме,—ответил он, падая на матрац.

Вот, дорогой мой, самые ужасные минуты моей жизни. Они наполнили ее такой горечью, которую все блага мира не могли бы усладить.

—Так вот куда ты отнес моего сына?—вскричала я.

—Послушай, Нанетта,—сказал он, взявши меня за обе руки,—Мне остается жить несколько дней, несколько часов, может быть. Я оставляю тебя в долгах, без друзей, без чьей-либо поддержки. Что ты будешь делать, имея на руках ребенка, которого не в состоянии прокормить? А что будет с ним, дорогим малюткой? И к тому же, кто знает, разве твой муж не может возвратиться? Прости меня и выслушай, умоляю тебя. Прежде чем отдать его в этот дом, я сделал ему метку на левом бедре—в виде креста, точно такого, какой ты отдала в залог. И так как он еще не крещен, то я привязал к пеленкам записочку, в которой просил, чтобы ему дали мое имя—Поль.

Как ни трудно было ему долго говорить, он должен был несколько раз повторить свой рассказ,—страшная слабость лишила меня возможности и слышать и понимать.

Он прибавил:

—Крест не сотрется. Я выжег его каленым железом.

—Каленым железом!—закричала я, объятая ужасом, и отодвинулась от него, как от убийцы.

—Успокойся,—сказал несчастный Гоше,—я принял такие предосторожности, что он едва вскрикнул.

Горе мое стало утихать только при мысли, что я вскоре постараюсь взять назад ребенка. Но состояние моего здоровья, должно быть, под влиянием испытанного потрясения, сделалось хуже и не позволило мне выходить. А с вечера того памятного дня у Гоше, измученного всем, что он перенес, начались судороги, которые я сочла было предсмертной агонией.

Доктор не подавал мне ни малейшей надежды, а так как я не в состоянии была платить ему, он перестал ходить к нам. Гоше угасал еще полторы недели. Когда я уже стала надеяться, что он возвратится к жизни, он скончался на моих руках после ужасного кризиса. Бедный друг! Как он был добр и честен! Сжался, боже, над его душой! Сколько раз я молилась за него пресвятой богородице и его святому покровителю!

Увы, мой дорогой, вот уже сорок восемь лет как воспоминания о нем и о моем сыне никогда не покидают меня. Да, с девятнадцати лет я живу одна, вечно одна. Иногда ваш дедушка принимал меня к себе в дом. Он научил меня своему мастерству и всегда потом давал мне работу, которая в его глазах была хорошим развлечением; сам-то он и не знал других развлечений, кроме разве воскресных прогулок, на которые позже отправлялся с вами,—и вы, еще крошечкой, бегали тогда по полям. На одной-то из этих прогулок, задолго до замужества вашей матери, я, по счастью, встретила с ним. Я была вместе с Гоше, который работал на него, и с тех пор он по своей доброте всегда мне помогал.

Да, я работала. Но я осталась со ста семьюдесятью пятью франками долга. Трудно поверить, сколько нужно времени для бедной работницы, чтобы заплатить такую большую сумму, каковы бы ни были ее трудолюбие и бережливость. Вычитать каждый год семнадцать ливров и десять су из дневного заработка—это ужасно. Я все заплатила, милое дитя, все заплатила. Но мне понадобилось для этого десять лет.

Вы понимаете, что в течение этих десяти лет, считая с того времени, как мое здоровье несколько поправилось, немало делала я для того, чтобы узнать что-нибудь о моем сыне. Все попытки мои были тщетны, потому что начальство воспитательного дома ввело обычай скрывать от матерей места, куда их детей посылают на воспитание. Я с отчаянием увидела это по первым же ответам, которые своей грубостью запугали меня до такой степени, что я не смела ничего сказать и ничего предпринять.

Никто нас, бедных людей, не слушает, никто нам не помогает! О, если бы я знала, что с ним случилось! Чего бы не дала я, чтобы иметь его при себе, чтобы его воспитывать! Сколько еще ночей я согласилась бы провести за работой! После многих лет неотступных просьб одна из сестер воспитательного дома сжалась надо мною. Она перебрала все списки, нашла, что в показанное мною время крещен был младенец под именем Поль, и написала в то дальнейшее место, куда он был отослан. Оттуда ответили, что кормилица и ее муж умерли, а дитя отдано богатому путешественнику, которому понравилось его хорошенькое личико. С тех пор о нем ничего не слыхали, а деревенский священник позабыл и как звали путешественника и откуда он.

Всего этого было так мало для матери, и, однако, эти сведения доставили мне большую радость. Сын мой избежал первых детских болезней. Он, должно быть, жив. Он наверное

жив! Чем более думала я об этом, тем тверже было мое убеждение. Да, все мне внушало надежду!

С тех пор я в мыслях жила с моим сыном, с моим Полем. И я не только искала его повсюду, насколько позволяли мне редкие досуги моей трудовой жизни, но год от году я все яснее представляла себе его образ. Я видела его малюткой. Видела, как он подрастал, становился мужчиной. А теперь я вижу его в зрелом возрасте. Он похож на меня. У него мои силы. Он жив, сердце не обманывает меня. И только останусь я одна, как он уж перед моими глазами. Недавно еще я воскликнула: “Сколько у тебя седых волос, Поль!” И в ответ он мне грустно улыбнулся.

Верно, и он испытал немало горя. Не знаю почему, но я убеждена, что в конце концов он преуспел в жизни. Я иначе не представляю себе его, как хорошо одетым. Но будь он даже в рубище, как мне хотелось бы прижать его к моему сердцу, прежде чем я умру!

С каким участием слушал я эту мать, творившую образ сына, о котором она неотступно мечтала! Не подумайте, что эта женщина была помешанная. Напротив, ум у нее был зрелый и прямой. Но одиночество и потребность любить—до какой степени развили они в ней материнское чувство! Сердце матери—неисчерпаемый источник чудес!

Приметив, с каким волнением я слушаю, она спросила меня:

—Не правда ли, я найду его?

—Я надеюсь, как и вы, тетушка Жари. Если бы он умер, вы утратили бы способность так отчетливо видеть его. Бог не станет забавляться такой трогательной любовью.

Глаза бедной женщины светились радостью. Она поспешно прибавила:

—О, я и сама часто повторяла это себе. Ах, если бы вы знали! Когда я иду по улице, я смотрю на каждого прохожего одних лет с Полем. Несмотря на всю свою робость, я осмеливалась даже останавливать некоторых, потому что они ростом, сложением, чертами лица напоминали мне брата—он был удивительно похож на меня. Одни смеялись и отталкивали меня, называя сумасшедшей, а другие, кажется, жалели меня, видя, до чего я смущена. Скажу более: я, женщина, ходила на берег реки смотреть на купающихся мужчин—в надежде увидеть выжженный крест, который должен был сохраниться на бедре Поля! Сколько часов по воскресеньям, после обедни, проводила я на Пон-Неф, где всегда так много народа, ожидая, не встрепенется ли при взгляде на кого-нибудь мое материнское сердце и не заговорит ли в ком-нибудь родная кровь, увидя меня! По случайно собранным сведениям я осмеливалась заходить к некоторым буржуа и рабочим, носившим имя Поля, или, как я узнавала, не имевшим вовсе родных. Вот и сейчас, мой дорогой, я занята новыми розысками, и вот почему я сочла необходимым рассказать вам историю моих несчастий. Есть в Комической опере актер по имени Поль, но я никак не могу узнать его адреса. Не можете ли вы как-нибудь добыть его? Кажется, я буду счастлива, если вы не откажетесь мне помочь.

—Тетушка Жари,—сказал я,—сегодня же вы будете знать, где он живет.

И в самом деле, я тотчас же отправился в театр и поспешил принести ей адрес. Случилось то, чего я ожидал: на другой день она возвратилась грустная и усталая. У актера Поля были отец и мать. Он ей представил их, потому что понял чувство, владевшее сердцем бедной женщины, и принял ее очень ласково.

Спустя несколько месяцев возраст, бедность и душевные невзгоды Сломали наконец ее крепкий организм. Опасные раны открылись у нее на ногах,

Она слегла в больницу для бедных, и я не мог помешать этому. При первом же моем посещении она сказала:

—О, если бы я только осмелилась!

—Смелей, смелей, тетушка Жари!

—Я узнала в тот день, как пришла сюда, что какой-то найденыш по имени Поль живет на набережной де-ла-Феррай. Меня заверили, что он одних лет с моим сыном.

Я повидался со славным малым, рабочим. Но человеку этому, уроженцу юга, было только тридцать шесть лет. Пришлось еще раз опечалить бедную женщину, состояние которой все ухудшалось.

Одна из сиделок палаты полюбила ее. Она сказала мне, что нечего рассчитывать на ее выздоровление и что нужно ее побаловать. Однажды утром я принес ей варенья, какого ей хотелось. Но она не обратила на это ни малейшего внимания.

—Мой добрый друг, добрый друг,— сказала она со светящимися радостью глазами, уже отмеченными смертью,— я видела его наконец, вот здесь, у моей постели. Это он! Я совсем в этом уверилась. И как две капли воды похож на портрет, который господь запечатлел в моем сердце,— с седыми волосами, как я уже говорила вам. Это он! Я буду здорова!

—Тем лучше, тетушка Жари! Но расскажите, как же это произошло.

—Он был окружен множеством докторов и студентов; казалось, он был их начальником. О, какой у него приятный голос! Он подошел к моей постели. Но не знаю, как случилось, что он исчез в ту самую минуту, как я закричала: “Поль! Сын мой!” —и упала без памяти. Добрая наша сестра-сиделка привела меня в чувство, и я рассказала ей, что видела его. Он опять придет завтра с обходом. Она обещала привести его к моей постели. Это он! Приходите завтра, приходите.

Выслушав ее, я подумал, что чувство, которое одушевляло всю ее жизнь превратилось в некий бред, предвещавший близкий конец, несмотря на живость голоса, быстроту взгляда и силу, с которой она сжимала мою руку.

На другой день она умерла, умерла счастливая, потому что это случилось в лучшую из всех минут ее материнской грезы, которая одна давала ей силу переносить на протяжении пятидесяти лет горе и нищету!

* * *

История ее жизни, которую мне хотелось передать во всей наивной простоте ее собственного рассказа, послужит переходом к моим личным невзгодам.

В 1798 году наш дом потерпел крах, и несчастье, которое я предвидел, нанесло мне один из сокрушительнейших ударов, какие на меня когда-либо обрушивались в жизни.

Воспитанный теткой в правилах строжайшей честности, я едва не занемог от отчаяния при мысли о катастрофе, которую я мог бы лишь несколько отдалить и за которую боялся ответить. В самом деле, полагаясь на меня, дельцы продолжали оказывать доверие нашему дому, хотя я уже около года не занимался делами. Большинство их считало себя вправе упрекать меня, чего я никак не заслуживал. Мой отец, по природе расточительный, издерживал чересчур много, зато я не был в тягость кассе: жил я в мансарде, без печи, и дождь или растаявший снег часто заливали мою койку. Развлечения мои стоили пустяки. Я мало тратил на одежду. Игра никогда меня не соблазняла. “Богатство твоего отца непрочное”, — говорила мне тетка, и я жил, сообразуясь с этими словами. Некрасивый, тщедушный, я не тратился на женщин, а ведь только они могли бы толкнуть меня на сумасбродную расточительность.

Среди таких злополучных обстоятельств другая страсть развилась во мне. До тех пор я сочинял стихи как попало и без всякой цели, но наконец истинная любовь к поэзии

овладела мною. Все еще не очень-то сильный в грамматике, я принялся изучать все роды поэзии, перепробовал едва ли не все жанры и в несколько лет создал себе более или менее полную систему поэтики, которую впоследствии усовершенствовал, но почти не изменил основных ее правил. В это время я стал много размышлять о языке и его духе, принимаясь, таким образом, прямо сверху за науку, низшие ступени которой внушали мне всегда какое-то отвращение.

Когда бедность стала угрожать нам, поэзия показалась мне утешением, ниспосланным самим небом. Некоторые из связанных с нами капиталистов, уверенные, несмотря на мои молодые годы, в моих финансовых способностях и в моей честности, о которой красноречиво свидетельствовали мои слезы и отчаяние, предлагали мне значительные суммы для возобновления дела. Отец настаивал, чтобы я принял предложение, но все было напрасно. Это занятие внушало мне такое отвращение, что я предпочитал терпеть нищету, чем возвращаться на биржу, мимо которой с тех пор я не мог пройти без содрогания.

Горько сожалел я и о том, что меня оторвали от типографии, которую я всегда любил. Но я не настолько надеялся на свои знания, чтобы искать в ней средств к жизни. А между тем это была ошибка: я убедился, хотя и слишком поздно, что в короткий срок мог бы стать искусным рабочим и тем избавить себя от многих лет лишений и тщетных ожиданий.

В то время как мой отец, преследуемый кредиторами и посаженный даже в тюрьму, не стал от этого ни менее беспечным, ни менее легкомысленным, — я готов был спрятаться от всех на свете и предавался грусти, тем более глубокой, что, будучи откровенен и общителен в радости, я становился замкнутым в печали. Боязнь встретиться со свидетелями или жертвами нашего разорения побуждала меня совершать длинные прогулки по парижским окрестностям. Сен-Жерве, Роменвиль, Булонь, Венсенн, — какими успокоительными мечтами обязан я вам!

Но скоро мне пришлось вступить в заведование кабинетом для чтения, приобретенным отцом. Это стало причиной новых забот: отец дал мне в помощь моего двоюродного брата, веселого малого, тратившего на свои удовольствия часть наших доходов, тогда как я стоял у конторки и между делом писал стихи. Отец мой взял наконец на себя управление кабинетом, сделавшимся для нас единственным источником средств к существованию. Кабинет этот находился на улице Сен-Никез. Как-то вечером, когда я шел туда, я чуть было не взлетел на воздух от взрыва адской машины³³, опередившего меня всего на несколько секунд.

По странному стечению обстоятельств, за несколько дней до этой ужасной катастрофы, г-н де Бурмон, который вел переговоры с консулатом, аббат Ратель, весь отдавшийся роялистским заговорам, некий Шарль, фамилию которого не помню, и еще два-три человека, принадлежавшие к той же партии, обедали у моего отца. Но это отнюдь не было тайное собрание. Тут я заметил, как мало было единомыслия у этих господ. В особенности г-н де Бурмон внушал всем недоверие и вызывал общее недовольство. И я очень удивился, узнав, что он замешан в деле Карбона и Сен-Режана. С того дня я не встречался с ним. Упомянутый Шарль, арестованный, кажется, на третий день после этого собрания, был расстрелян по одному старому приговору, вынесенному против него. Перед тем как его взяли под стражу, он задумал убить первого консула и вверил свою тайну отцу, который сделал все, чтобы отвратить его от этого намерения. Связь с такими людьми навлекла на нас подозрения. Но надзору подвергли только моего отца, которого полицейский комиссар называл роялистским банкиром. Если о богатстве партии судить

по богатству банкира, то ее банкротство было неминуемо.

Я спохватываюсь, что ничего не говорил о политических событиях двух последних лет XVIII века. Эти события были вовсе не таковы, чтобы смягчить мою печаль. Я, столь радовавшийся успехам нашего оружия, скоро принужден был оплакивать его многочисленные неудачи³⁴ и даже трепетать за независимость отечества. Под конец правления Директории анархия взяла такую силу, что и мужественные духом люди потеряли всякую надежду. Судите, что же испытывали робкие сердца! Я со стыдом слышал, как почтенные буржуа желали в то время, чтобы иностранная коалиция восторжествовала. Люди, подобные генералам Массена и Брюну³⁵, прославившим французское оружие в Швейцарии и Голландии, казалось не были в силах восстановить безопасность нашего отечества,—до того беспорядки, разврат и сумасбродства правительства Барра³⁶ заставили упасть духом нацию, недавно еще полную веры в свои силы.

В пору этих общественных неурядиц я, бедный ученик Ювенала³⁷, сочинял александрийские стихи против Барра и его единомышленников. Как видите, я рано почувствовал влечение к сатире, которая тогда была в моде, как это доказывают стихи Шенье, Лормиана³⁸, Депаза и многих других.

Но моим произведениям в этом роде некогда было расцвести. Бонапарт³⁹ вернулся из Египта. Когда разнеслась ошеломляющая весть о его неожиданном возвращении, я был в нашем кабинете для чтения, где находилось тогда более тридцати читателей. Все как один поднялись, издавая долго не смолкавшие радостные клики. То же было почти во всей Франции, которая сочла себя уже спасенною. Кто оказывает такое действие на народ, тот уже его властелин,—тут и мудрецы не помогут. Высадившись во Фрежюсе, Бонапарт был уже императором Наполеоном.

Я всегда с каким-то лукавым удовольствием предвещал моему отцу будущее возвышение победителя при Арколе и Лоди⁴⁰. Его поход в Египет отнюдь не заставил меня отказаться от предсказания, что он достигнет верховной власти. Отец, как и все другие роялисты, видел в нем только второго Монка. Что же касается меня, то я рукоплескал вместе со всей Францией перевороту 18 брюмера, опасаясь, однако, что молодой генерал не остановится на консульстве.

Если меня спросить, как я, при моей способности предвидеть, не возмутился 18 брюмера нарушением конституции,—я скажу просто и откровенно, что во мне патриотизм всегда преобладал над политическими доктринами и что провидение не всякий раз предоставляет нациям возможность выбирать средства спасения. Один только он, этот великий человек, мог вырвать Францию из той пропасти, в которую Директория наконец низвергла ее. Мне было девятнадцать лет, и казалось, что все стали такими же молодыми, ибо все думали, как и я. Насилие уничтожило партии, а их попытки бороться, которых так опасались, были только предсмертными судорогами. Одного страха оказалось достаточно, чтобы помешать не большому числу голосов, требовавших настоящей свободной республики, найти широкий отголосок. Думали, что такая республика уже существовала в 1793 году и что у нее не было иных приверженцев, кроме фанатиков. Умные люди хотя и говорили еще о свободе, но говорили с недоверием, какое поселили в них все эти несчастные или неудачные опыты. Сверх того, лишь очень немногие из этих политиков сумели бы на практике осуществлять свои принципы, без чего люди быстро теряют уважение к самым лучшим идеям. А главное, Франция нуждалась в правительстве твердом и сильном, которое спасло бы ее и от якобинцев и от Бурбонов, от вечной неуверенности и от анархии. Молодежь, в восторге от славы молодого

консула, готова была выполнять его намерения и не думала даже спрашивать, каковы они на деле. Чтобы иметь об этом понятие, нужно было слышать, с каким исступлением аплодировали в театрах всем намекам на разгон депутатов в Сен-Клу и каким смехом сопровождалась стрельба, пущенная в ничтожное число Брутов, которые употребляли тогдашнее выражение—осмеливались противиться новому Цезарю!

Кто поверит, что мое первое покушение стать в оппозицию консулату было вызвано заимствованием у римлян и греков названий—сначала для новых должностей, а потом для учреждений народного образования! Консулы, трибуны, префекты, пританеи⁴¹, лицеи—все эти слова, казалось мне, состояли в заговоре против нового мира, порожденного 1789 годом, хотя и он завещал нам довольно много слов подобного происхождения. Без сомнения, это было ребячеством с моей стороны, но я всегда ненавидел рутинное подражание древним.

Полюбуйтесь-ка у нас на Эро де Сешелля⁴², который не мог приняться за работу по составлению нашей конституции, прежде нежели достал где-то законы Миноса. Из смешения древнего с новейшим, язычества с христианством родилась лоскутная цивилизация—платье арлекина, которое, к счастью, уже сваливается с плеч, превратившись в лохмотья.

Мой гнев по этому поводу вызывал тогда смех, да и теперь, быть может, его встретят смехом. Это не мешало мне, однако, несмотря на всю мою любовь к грекам, критически отнестись ко всем этим великим мужам Плутарха, да и к самому Плутарху—этому греку, не осмелившемуся признать ни политическое величие Демосфена, ни гений Аристофана. Так будем же изучать древность, уважать предания, но возьмем от них только то, без чего нам нельзя обойтись.

Мое восхищение Бонапартом не мешало мне иногда называть его школьником. Паоли разгадал его: это был во многих отношениях герой Плутарха. А потому надеюсь, что он останется последним, а может быть, и величайшим из людей старого мира, который он, однако, так любил переделывать на свой лад. Но, увы! Самое гибельное дело—это борьба против нового мира! Наполеон пал, занявшись этим делом. В 1815 году, как будто в подтверждение слов Паоли, он писал регенту Англии, что, подобно Фемистоклу⁴³, собирается найти приют у британского очага. Английский народ и принц-регент проявили большую чувствительность к этому воспоминанию из Плутарха⁴⁴.

Вначале консулата, стремясь избавиться от мучивших меня всевозможных затруднений, я решил было хлопотать, чтобы меня послали в Египет, где наша армия, казалось, еще долго продержится. Парсеваль-Гранмезон⁴⁵, с которым я был знаком,—он возвратился вместе с Наполеоном,—указал мне на множество неудобств, какие могут возникнуть при выполнении этого предприятия. Мне пришлось согласиться с ним. Сколько раз повторял он впоследствии: “Не прав ли я был?” Но и я не совсем был неправ: я не хотел быть в тягость моему отцу и старался найти средства к жизни, а где, в каком краю—все равно.

Однако в моей бедности была и некоторая прелесть. Я жил в мансарде, на седьмом этаже, на бульваре Сен-Мартен. Каким прекрасным видом я там наслаждался! Как любил я по вечерам смотреть на обширный город, когда к его непрерывному шуму примешивалось грохотанье сильной грозы! Я поселился на этом чердаке с невыразимым удовольствием,—без денег, без надежды на будущее, но счастливый тем, что освободился наконец от дурных занятий, которые с самого моего возвращения в Париж были мне совсем не по душе. Жить одному, писать стихи когда только вздумается—казалось мне блаженством. Притом же мое благоразумие не лишало меня безусловно всех удовольствий: многие оно допускало. Быть может, я никогда и не знал вполне того, что

наши прежние и новые романисты называют любовью: я никогда не смотрел на женщину ни как на жену, ни как на любовницу,—а это часто делает ее или рабою, или тираном,—но видел в женщине только подругу, дарованную нам богом. Почтительная нежность, которую внушали мне женщины в моей молодости, никогда не переставала быть для меня источником сладчайших утех.

Так восторжествовал я над моим глубоким предрасположением к меланхолии, припадки которой становились все реже и реже благодаря женщинам и поэзии. Я благодарен женщинам, потому что им обязана своим существованием моя поэзия.

Но даже и тогда, когда меня сильно донимало это несносное расположение духа, я оставался одним из самых сумасбродных и веселых участников наших дружеских сходов. Какое наслаждение иметь друзей!

Каковы бы ни были мои размышления о литературе, они не мешали мне сочинять песенки для наших веселых обедов, которые мы устраивали с согласия нашего тощего кошелька. Мы были непременными участниками маскарадов во время карнавала. Играть комедии было моей любимой забавой, и я часто составлял на разные торжественные случаи маленькие водевили, хотя это вовсе не согласуется с тем, что я впоследствии так мало находил удовольствия в посещении театра.

В те годы я завел немало дружеских связей, которые поддерживаю до сих пор: с Антье—он много писал для наших второстепенных театров и сочинил столько прекрасных песен, оставшихся неизданными, ибо он не искал славы, хотя при его таланте ему нетрудно было бы ее добиться; с Лебреном—человеком таким чистым и добрым—он стал академиком, сочинения его имели большой и заслуженный успех, но он рано разочаровался в себе; с Вильгемом Бокийоном—изобретателем превосходной музыкальной методы, которая, сделав музыку доступнее, оказала великую услугу Франции, особенно трудящимся классам, на нравы которых музыка оказывает благотворное действие.

Говоря о Вильгеме, авторе таких приятных композиций к иным моим песням, музыканте, которому время, отданное его “Методу”, помешало приобрести имя выдающегося композитора, я не прочь привести стихотворное письмо, каких я написал немало и которое адресовал ему по случаю Те Деум, исполненного в Соборе Парижской богородицы в присутствии всех королей—придворных Наполеона. У меня был туда входной билет.

Пять королей сберутся в храме
 Хвалу всевышнему гнусить.
 Меня, надеюсь (между нами),
 Не позабудут пригласить.
 Рубашка чистая готова,
 Чулки и галстук сменены,
 И фрак есть черный, хоть не новый,—
 Но где парадные штаны?

Я в них имел бы вид приличный,
 Как академик иль танцор...
 Ты знаешь, что весьма различны
 Причуды девяти сестер.

В их добродетель, скажем честно,
Мы оба верить не должны:
Ведь у друзей их, как известно,
Подчас отсутствуют штаны.

Вильгем, ты щедр, всегда радушен,
Ты чуток к горестям чужим.
Ты--сам бедняк--великодушен
И не найдешь меня смешным.
Судьбы коварство мне знакомо,
В деньгах мы оба стеснены...
Не можешь ли остаться дома
И мне отдать свои штаны?⁴⁶

Только один человек из числа старых друзей разошелся со мною в 1815 году из-за политики. Это был знаменитый художник⁴⁷, человек нрава кроткого и любезного, но из тщеславия пристрастившийся к аристократическим кругам. Вскоре этот друг раскаялся в том, что отдалился от меня, но в дружбе я никогда не верил в возможность примирения, разве что поводом к разрыву было недоразумение.

Художник этот однажды заболел, и вот во время его долгой болезни, когда я не переставал ухаживать за ним, мне в первый раз пришлось в голову записать свои песни. Я припомнил их более сорока во время бессонных ночей у постели больного, который совершенно не переносил присутствия сиделок, хотя мог бы нанять их сколько угодно. Написав песню, я пел ее больному, чтобы как-нибудь развлечь его в часы печальной бессонницы. Как ни хороша у меня память, я все-таки позабыл многие из этих песен: столько я сложил их! Но я припоминаю еще нынче куплеты, сочиненные мною в ответ на письмо, в котором этот неблагодарный друг писал мне после 20 марта⁴⁸, что если мы хотим повидаться, то нам надо для этого подождать возвращения Бурбонов. Я не отослал ему эти стихи и, пока он был жив, не считал возможным опубликовать их.

По дружбе ты справляешь тризну:
Нам не дружить до лучших дней--
До возвращения в отчизну
Законных, прежних королей.
От этого избави боже!
Меня страшат твои мечты.
Мне слезы Франции дороже,
Чем друг,--хотя б такой, как ты.

Тебя любил я... Дружбу эту
Нельзя прогнать небрежно прочь,
Как нищего, что до рассвета
У очага проводит ночь.
Ее из дома, где делила
Она и радость и печаль,
Неблагодарность удалила,--
И дружба выживет едва ль.

Она умрет, мне ясно это...
 От всей души жалею я
 О жертве твоего запрета.
 Но если партия твоя
 Одержит верх--то, негодуя,
 Хотя б врагов грозил мне рой,
 К твоим дверям не подойду я,-
 Ты чужеземцам их открой!

Но возвратимся к 1801 году, на мой чердак на бульваре Сен-Мартен. Нужда усиливалась, а рекрутский набор внес в мою жизнь новые тревоги. Как ни был велик мой аппетит, нетрудно было насытиться хлебом и сыром. Но как избежать рекрутского набора и тех, кто обязан был его проводить?

Слабое телосложение и особенно близорукость, при которых я был бы никуда негодным солдатом, делали весьма вероятным мое освобождение от военной службы. Никто не верил, — так я был худ и бледен, — что я доживу до тридцати лет. У меня была столь слабая грудь, что отец то и дело говорил: “Ты не жилец на свете. Вскоре я тебя похороню”. И это не печалило ни меня, ни его. Но его имущественный ценз как владельца кабинета для чтения обязывал его, если б меня и не взяли, поставить за меня рекрута, а это было ему совершенно не по карману.

Успокоив свою совесть тем, что я решительно был неспособен к военной службе, я нашел только одно средство избавить отца от издержек, связанных с рекрутчиной: я не внес себя в списки подлежащих призыву, что тогда было еще возможно. Но, поступив так, я ставил себя под угрозу почти неизбежного ареста. Еще одно жестокое беспокойство в дополнение к стольким другим! При таких обстоятельствах многие молодые люди теряют присутствие духа. Но я стойко переносил все невзгоды, и небо пришло мне на помощь. Без какой-либо ощутимой причины, если не считать головных болей, я в двадцать три года совершенно лишился волос; благодаря старообразному виду из-за столь раннего облысения я мог не бояться жандармов и полицейских офицеров, которые везде подстерегали уклонявшихся от явки рекрутов, — стоило мне только снять шляпу, проходя мимо них, чтобы им и в голову не пришло спросить у меня документы, потому что, хотя мне и было еще далеко до тридцати, на вид можно было дать по крайней мере сорок пять лет. И мне долго пришлось раскланиваться с этими господами, так как уклонявшиеся были амнистированы только при бракосочетании Наполеона с Марией-Луизой, из чего следует, что маленькие люди не всегда бывают в накладе от глупостей больших людей.

Казалось, что и судьба умиловилась наконец надо мною. Три года ушли у меня на поиски хоть какой-нибудь должности и особенно на сочинение стихов, где я от политической сатиры переходил к одам и идиллиям, от комедии — к эпической “поэме. Между тем нужда моя все возрастала, и я однажды решился написать г-ну Люсьену Бонапарту⁴⁹. Это было в начале 1804 года. Я уже говорил в другом месте⁵⁰ о счастливых последствиях, которыми сопровождалась для меня эта отчаянная попытка. Но я люблю вспоминать, среди каких плачевных обстоятельств и при каком угрожающем будущем упал на меня этот солнечный луч.

Уже с давних пор золотые часы и некоторые другие остатки нашего мимолетного богатства были в ломбарде. Гардероб мой состоял из трех сорочек (которые даже руки друга уставали чинить), легкого, очень поношенного сюртука, панталон, прорванных на

колене, и пары башмаков—главной причины - моего отчаяния, потому что каждое утро, принимаясь их чистить, я открывал в них все новые изъяны.

Я послал по почте в письме к г-ну Люсьену четыреста или пятьсот стихов, не говоря никому об этой новой попытке, сделанной после многих других. Два дня прошли без ответа, но как-то вечером мой лучший друг, добрая Жюдит⁵¹, с которой я оканчиваю мои дни, предсказывает мне, раскладывая карты, что будет получено письмо и оно принесет мне большую радость. Несмотря на мое неверие в искусство мадемуазель Ленорман⁵², я почувствовал радость при этом пророчестве Жюдит: бедность суверена.

Вернувшись в свою берлогу, я уснул, мечтая о почтальоне. Но утром: прощайте мечты! Дырявые ботинки бросаются мне в глаза, а сверх того внук портного должен засесть за починку своих старых панталон. Сидя с иголкой в руке, я мысленно сочиняю мизантропические стихи, что часто делывал в то время,— как вдруг, запыхавшись, вбегает привратница и подает письмо. Почерк мне незнаком. Стихи, иголка, панталоны—все разом исчезло. Я был так взволнован, что не смел распечатать письмо. Наконец трепещущей рукой ломаю печать: сенатор Люсьен Бонапарт прочел мои стихи и желает меня видеть!

Пусть молодые поэты, находящиеся в таком положении, в каком был я, представят себе мое счастье и опишут его, если могут. Не богатство представилось мне прежде всего, но слава. На глазах моих выступили слезы, и я возблагодарил бога, которого никогда не забывал в счастливые мгновения моей жизни.

Быстро раздобыв себе более приличную одежду, я отправился к брату первого консула. В самом деле, когда я подумаю о двух слабых дифирамбических поэмах (“Восстановление культа” и “Потоп”), которые я осмелился послать этому выдающемуся человеку, оратору, да вдобавок и поэту, я удивляюсь тому благоволению, какого был им удостоен. Он заверил меня, что позаботится о моей судьбе, и успел доказать это, несмотря на скорый отъезд в Рим, откуда прислал мне доверенность на получение своего жалованья академика. Мне тотчас же выдали его за три прошедших года. Большую часть этих денег я отдал отцу, которому должен был за многие месяцы содержания, для меня же вполне хватало тысячи франков ежегодного жалованья, положенного академику⁵³.

За два свидания с г-ном Люсьеном, которые у меня только и были в ту пору, он сделал мне много замечаний насчет смелости моего слога. Я не хотел защищать себя и сказал ему, что не получил классического образования. Невыразимо тяжело было мне признаться, что я не знаю латинского языка, без знакомства с которым, как я полагал тогда вместе со всеми, нельзя хорошо писать по-французски. И г-н Люсьен, должно быть, думал так же. Но он был столь любезен, что не высказал своего мнения, а только предложил мне для разработки тему из римской истории: “Смерть Нерона”.

Я попытался в небольшой поэме в две-три сотни стихов изобразить последние минуты коронованного лицедея⁵⁴. Но это была вовсе не моя сфера. Всегда в жизни я писал только о тех предметах, которые сами собой приходили мне на ум, а подражание было не в моем характере. Кроме того, язычество и древность, с которыми я так хорошо был знаком, как будто просидел несколько лет в коллеже,—нимало не прельщали мою юную музу, вполне современную, совершенно французскую и уже успевшую возмутиться против мифологии, которой в то время особенно злоупотребляли Делиль⁵⁵ и Лебрен-Пиндар⁵⁶.

В этой поэме о Нероне было лишь несколько довольно сильных мест, где проглядывало влечение к простоте, которую я так стал уважать, когда, отказавшись от почти невероятной легкости, с какой раньше нагромождал сотни стихов, начал работать вдумчивее, чем прежде,—что, говоря мимоходом, немаловажная заслуга для

двадцатилетнего рифмача. Правда, у меня хватило терпения дважды переписать “Гофолию”, изучение которой принесло мне, как я думаю, много пользы.

Разговаривая однажды о французской поэзии с г-ном Люсьеном, приверженцем форм, которые мне казались уже устарелыми, я, чтобы пояснить мое понимание стиля, прочел ему стихов сорок, написанных в манере, совершенно противоположной манере Делиля. Поэт этот был тогда в большой чести, но, несмотря на его удивительное мастерство, его манера казалась мне во многих отношениях ложною и опасною. В этом отрывке я говорил о падении Бурбонов и возвышении Бонапарта. Там, между прочим, были следующие стихи:

И солнце, обозрев с высот края земные,
Увидит во дворцах династии иные,
И гибель их узрит--династий и дворцов...

Если тут и не было ничего нового в выражении, то было по меньшей мере странно читать подобные стихи представителю новой династии в великолепной галерее, где он меня принимал. Все это было похоже на пророчества Аввакумовы⁵⁷. Несмотря на это, мой благосклонный слушатель похвалил эти стихи.

Покровительство г-на Люсьена, несмотря на изгнание, которому он обрек себя с тех пор, не переставало быть мне полезным. Надо непременно иметь что сказать о себе, а много уже значило иметь право говорить, что он тебе покровительствует.

В двадцать пять лет у меня было наконец то, чего я так давно желал: скромная должность. Я поступил в контору живописца Ландона⁵⁸, где составлял текст для его “Музея”. Это было собрание штриховых рисунков статуй и картин Лувра, столь богатого в те времена плодами благородных и честных побед,—что бы ни говорил Виллингтон, который мог бы приберечь свои уроки нравственности для грабителей Индии⁵⁹.

Вместе с несколькими живописцами⁶⁰ мне было легко исполнять свои новые обязанности. Благодаря советам Ландона, который обладал и тактом и познаниями, я развил свой вкус в области изобразительных искусств. Тысяча восемьсот франков по этой должности в соединении с тысячью франков из академии позволили мне вкушать сладчайшие плоды богатства; я мог теперь помогать отцу и моей бедной бабушке, вдове старого портного, разорение которого довершили бумажные деньги; я мог быть полезен и моей сестре, работавшей у одной из наших теток. Но меня постоянно мучил страх, что мне придется когда-нибудь превратить занятия литературой в промысел, и я чувствовал ненадежность моей теперешней должности; поэтому, не пренебрегая ничем, чтобы доставить себе более надежное место, я обратился за этим к г-ну Арно, драматургу, другу Люсьена Бонапарта, начальнику отделения народного просвещения в министерстве внутренних дел.

Я мог бы также обратиться и к г-ну Фонтану⁶¹, тоже другу моего покровителя, но мне говорили о независимости поведения Арно, который и в самом деле не вошел в милость у первого консула: это как раз и решило мой выбор. Арно сделался вскоре моим другом. И если, в силу ограниченности своего влияния, он смог только спустя три года⁶² предоставить мне место,—тем не менее он никогда не переставал выказывать мне истинное участие и открыл мне двери в литературный мир, в который я до тех пор не был вхож.

Он хотел, чтобы я писал для периодической печати. Но я никогда не чувствовал призвания к этому роду занятий, поглотившему у нас так много молодых дарований, рожденных, быть может, для славы, и отпугивавшему мое ленивое перо и щепетильную совесть. Чтобы заняться такой профессией, нужно было отказаться от всех прекрасных надежд, от всех мечтаний. А это значило превратить мою мансарду в пустыню.

“Тений христианства”⁶³, несмотря на критику, вызванную этим творением в мире философическом, и если отвлечься от принятой автором формы, привел меня в восторг. Шатобриан заново открывал красоты древних писателей и вводил в литературу начало религиозное, казалось бы, изгнанное из нашей поэзии. Книга его стала для меня курсом учения, которое совершенно иначе вдохновляло меня, нежели Баттё или Лагарп⁶⁴.

“Илиада” в переводе госпожи Дасье⁶⁵ исторгала у меня слезы восхищения, и я чувствовал какую-то страсть к Аристофану—гению, который, кажется, недостаточно оценен у нас. Но я не мог разобраться в греческой поэзии. Я обязан г-ну де Шатобриану тем, что стал постигать последнюю, наряду с поэзией библейской. Ему же обязан я более здравым суждением о нашей родной литературе, хотя я и не подчинял себя всем вообще суждениям великого писателя. К несчастью,—и это в самом деле несчастье,—я не склонял моей головы ни под каким ярмом, что не мешало мне, однако, питать искреннюю благодарность к тем, кого я избрал себе в наставники.

С той непоколебимой основой веры, которую мы называем деизмом, веры, так твердо напечатленной в сердце моем, что, в соединении со всеми другими чувствами, она могла бы перейти в суеверие, если б только мой рассудок допустил это, в меланхолическом настроении (которого источником были мои несчастья) и под влиянием Шатобриана я покушался было возвратиться к католицизму. Я посвящал ему мои поэтические опыты, ходил в церкви в часы, когда они бывали пусты, читал книги священного писания—не только евангелие, которое, несмотря на мои деистические верования, я всегда считал книгою философской, самую утешительной из всех книг.

Увы! Эти попытки были напрасны. Я всегда говорил, что разум годится только на то, чтобы утопить нас, когда мы упадем в воду. Однако в этом случае разум остается хозяином в доме. Глупец! Он не допустил меня верить в то, во что верили Тюренн, Корнель и Боссюз⁶⁶. Однако я всегда был, есть и до самой смерти буду тем, кого в философии называют спиритуалистом. И мне кажется, что это глубокое чувство просвечивает даже в моих игривых песенках, за которые милосердные души, лет двадцать тому назад, готовы были сжечь меня на площади, как некогда были сожжены Доле и Ванини⁶⁷.

От этого обращения к вере, которое, должно быть, было вызвано все тем же моим всегдашним спиритуализмом, у меня осталось несколько плохих стихотворений, которые, вероятно, я вскоре сожгу и которые вызывают мою улыбку всякий раз, как попадают на глаза. Насколько я люблю, чтобы поэт был религиозен в сюжетах религиозных, настолько же нахожу непростительно глупым, когда хотят выказать веру, которой на самом деле вовсе не имеют⁶⁸. Истинно благочестивых людей никогда не обманешь показной религиозностью, да и те, кто ее выказывает, рано или поздно изменяют ей.

А кроме того, тут есть опасность поступиться своим дарованием, истинной опорой которого всегда остается искренность чувств.

Я вовсе не из тех, кто полагает, что в наши времена поэт—это жрец. Я далек от этого анахронизма. Но, чтобы не быть каким-то предметом роскоши в современном мире, поэт должен стремиться к такому моральному единству во взглядах, которым он служит и которые он проповедует, чтобы не могла быть заподозрена искренность его убеждений.

Говоря как можно короче о моих первых опытах, скажу, что мне приходило в голову написать поэму* о Хлодвиге, где я хотел изобразить галльское епископство, помогавшее ему основать нашу древнюю империю. Я почти что закончил пасторальную поэму из времен Жанны д'Арк и набросал ряд идиллий, касавшихся новейших нравов. Я начал несколько комедий, две из них даже в пяти актах; одна из моих комедий была об ученых, или, вернее, против ученых (к которым мне часто-таки приходилось терять уважение, несмотря на то, что я преклонялся перед наукой); а в другой, под несколько странным названием "Гермафродиты", я осмеивал женоподобных мужчин, остаток старого режима, и женщин, подражавших привычкам нашего пола. Я уже написал несколько актов этих двух пьес. И не из-за недостатка в них здравого смысла я бросил их, но из-за того старания, с каким я, вопреки самому себе, отделял фактуру стиха, занимаясь тщательным изысканием формы, придумыванием игры слов и заменяя иногда целой картиной простое выражение мысли. Таким способом, сбивающимся на жанр послания, сочиняют пьесы типа комедии "Негодный" Грессе⁶⁹, но далеко не доходят—не скажу до Мольера, единственного, кто достиг совершенства в комическом роде,—но даже и до Реньяра, который, подобно автору "Мизантропа", но совсем отличными средствами и с другими целями, сразу придает тираде и диалогу форму, полную остроумия, легкости и веселья. Я не могу удержаться, чтобы не сказать тут, что этим автором слишком пренебрегают в наших курсах литературы и недостаточно ценят его слог—смелую и пленительную импровизацию, всего достоинства которой не почувствовал Лагарп. На мой взгляд, Реньяр⁷⁰ был бы первым из наших комедиографов, не будь у нас Мольера. Чем больше дарования мы станем признавать в нем, тем более будем восхищаться Мольером и еще с большим удивлением измерим пространство, их разделяющее. Руссо, который всегда, казалось, думал, что те, кто заставляет других смеяться, смеются над ним, отзывался о Реньяре не лучше, чем о Мольере. Но я спрашиваю: что бы он сказал, если бы комедии "Единственный наследник"⁷¹ дать заглавие "Старый холостяк"?

По сто раз я принимался перечитывать своих любимых авторов, и у меня не стало духу закончить мои комедии, так что семь с лишним актов их присоединились ко многим другим незавершенным наброскам. Я понял, что владею слогом, что у меня даже есть развитое воображение, но признавал, что никогда не смогу стать хорошим драматургом. В годы юного самодовольства мы редко умеем найти в себе слабые стороны. И я бесконечно благодарен себе за это проявление здравого смысла.

Если, позднее, я покушался иногда выступить на сцене, то меня побуждала к этому нужда. К счастью, я никогда не мог добиться чести, чтобы мои драматические произведения были прочитаны. Не говоря уже об отсутствии надлежащего дарования—что было бы со мной на поприще, усеянном препятствиями, где корысть и самолюбие борются беспрестанно, не разбирая средств? Имей я гений Мольера, я и тут с моим характером потерпел бы неудачу в театре⁷².

В годы Империи почти вовсе не занимались политикой. А между тем политика всегда меня занимала. И хотя я предвидел почти весь путь, по которому устремится честолюбие Бонапарта, восстановление трона очень меня опечалило. Не ради доктрины, но просто по инстинкту и по чувству, я—человек глубоко республиканского направления. Я оплакивал республику не чернильными слезами, со многими знаками восклицания, на которые так щедр поэты, но слезами, которые душа, жаждущая независимости, проливает в действительности при виде ран, нанесенных родине и свободе. Мой восторг перед гением Наполеона нисколько не уменьшал моего отвращения к его деспотическому режиму, тем более что в то время я не считался с необходимостью, которую налагала на нет борьба

против коалиций, все вновь и вновь затеваемых европейской аристократией.

Другое горе присоединилось к этому. Единственный из всех братьев Наполеона, Люсьен, не разделял с ним плодов его возвеличения; он оставался в изгнании, которое окончилось только во время Ста дней. Я был благодарен ему, страдал оттого, что он живет, забытый, в Риме, и возымел намерение открыто выказать ему свое уважение. Я только что закончил несколько пасторалей. Махнув рукой на свое авторское самолюбие и отказавшись от всякого притязания на совершенство, которого этим сочинениям и не суждено было достигнуть, я составил из них небольшой томик, украсил его стихотворным посвящением и стал подыскивать издателя. Будь печать хоть сколько-нибудь свободна, я нашел бы издателя, — уже только благодаря одному посвящению. Но мне нужно было продираться сквозь литературную полицию.

Арно рекомендовал меня академику Лемонтею, который считался снисходительнее других императорских цензоров. С первого же взгляда он осудил посвящение и эпилог пасторальной поэмы, адресованный г-ну Люсьену. Вот этот эпилог: достаточно прочесть его, чтобы понять официальную щекотливость доброго Лемонтея, который, впрочем, с глазу на глаз отзывался весьма неодобрительно и о королях и об императорах.

...Ужель должны в век нынешний, век славы,
Мои стихи безвестно умереть?
Увы, секрет напевов чудной силы
Античность мне в наследство не дала;
Наука та, что гениев вскормила,
Кормилицей моею не была.
Что спрашивать с того, кто не учился?
Уроки мне давала лишь беда,
И колос мой на божий свет явился,
Не будучи посеян никогда...
Хотел бы я, чтоб сельские картины
И вас влекли... На что вам пышный двор,
Мой добрый принц? Ведь мирные долины,
Луга, леса так улаждают взор.
Хоть шлет господь и грозы и лавины,
Но скоро вновь яснеют выси гор.

Вы роетесь прилежно средь обломков⁷³
Престолов тех, пред кем склонялся ниц
Весь мир...Но что осталось для потомков?
Лишь пыль веков да пустота гробниц.
Какой пример для всех царей кичливых!
О, если б вас всегда к себе влекла
Краса полей, утесов горделивых!
Она внушит вам добрые дела.
Прекрасен путь, каким доньше шли вы;
Верны ему, вы будете счастливым,
Не отягчив короною чела!

Если по этому образчику можно судить о строгости цензуры, то можно также видеть при чтении этих стихов, сколько было личного самоотвержения с моей стороны в решимости их напечатать. Доказательством того, что я думал так обо всем сборнике, служит следующее: я совершенно отказался от мысли опубликовать его, убедившись в невозможности воздать должное уважение г-ну Люсьену. Этому отрывку не повезло и при Реставрации. Сделав в нем несколько изменений, требуемых обстоятельствами, я послал его в “Альманах Муз”, но и там его не напечатали. Наконец только в 1833 году я смог несколькими строками прозы⁷⁴ подобающим образом публично выразить мою благодарность знаменитому изгнаннику, которого я видел всего лишь два раза после 20 марта 1815 года⁷⁵. А так как у меня тогда установилась репутация поэта-песенника, то он сделал мне несколько жестоких упреков за пренебрежение высокими родами поэзии. Не будучи в состоянии уверить его, что я пока и не думал оставлять их, я старался не показываться ему на глаза до самого сражения при Ватерлоо. Но после этого рокового события я уже не смог повидаться с принцем и, быть может, больше не буду иметь счастья видеть его.

Вернемся к 1807 году. К этому времени Ландон почти закончил свой труд, и я лишился у него места. Приходилось довольствоваться одним жалованьем из института; обремененный довольно значительными обязанностями, я впал бы снова в нищету, если бы не друг моего детства, Кенекур из Перонны, который помог мне дождаться лучших времен.

Меня часто упрекали в гордости, потому что я не раз отказывался от предложений многих богатых людей. Это ошибка. Я готов был принимать помощь, но только из рук друзей. Как только мне предлагали какую-нибудь политическую роль, я отказывался, невзирая на настояния достойных лиц и даже если я не мог сомневаться в их расположении. Но эти могущественные друзья занимали в то время слишком важные места в оппозиции, и моя независимость поэта-песенника легко могла бы быть заподозрена, если б я стал им чем-нибудь обязанным. Я никогда не отталкивал из гордости руку, протянутую в несчастье мне другом: это сделало бы меня недостойным самому помогать моим несчастным друзьям. Благодарение небу, моя бережливость позволила мне в дни благополучия делать многим одолжения, и, думаю, у тех, кто принимал мои услуги, никогда не было причины краснеть; а помогая другим, я испытывал никак не меньше удовольствия, чем те, которые были мне обязаны.

Впрочем, я не единственный из писателей того времени отстаивал свою независимость бескорыстным поведением. Очень многие поступали так, вопреки распространявшейся о них клевете. Часто печатали, например, что Тьер⁷⁶ материально обязан Лафитту, тогда как этот писатель, живший своим трудом и в то время еще молодой, часто помогал финансисту; суровый Манжюль был посредником их отношений, и я твердо уверен, что они всегда складывались не в пользу писателя.

Тьер навсегда сохранил доброе сердце и чистые руки. Когда его упрекали в неблагодарности к Лафитту, он молчал: я сам свидетель этой благородной твердости; и должен признать, что из уст Лафитта никогда не исходило столь несправедливое обвинение. Напротив, он часто в разговоре со мной хвалил поведение Тьера по отношению к нему во многих критических обстоятельствах после 1830 года.

В этой моей биографии, которую я желал бы составить как можно короче, я беспрестанно пробегаю сверху вниз и снизу вверх лестницу моей жизни и, увлекшись иногда одним словом, ухожу на десять или пятнадцать лет вперед и потом опять возвращаюсь назад. Вот и теперь, давайте вернемся к моей молодости и к некоторым ее

счастливейшим минутам: для старика это большое удовольствие.

Частые путешествия в Перонну для свидания с теткой и с Кенекуром, у которого я и останавливался, оказали большое влияние на мое почти незаметное развитие как песенника. Старые друзья, добрые родственники, в частности семья Форже, все почти что мои ровесники, собирались вместе и устраивали -для меня праздник. Застольные удовольствия—единственное развлечение маленьких городов: тут представляется случай повеселить собеседников куплетами во время десерта, который часто затягивается до полуночи. Я почти импровизировал эти куплеты, и некоторые из тогдашних песенок вошли в мои сборники. Песня “Беднота” относится к той поре,—ведь нам и в самом деле было далеко до больших господ. Одним из постоянных участников наших пиршеств был наборщик, который некогда в типографии дал мне первые уроки. Славный Больё, превосходный ты человек! стакан вина утешал тебя во многих бедствиях, и как же любили мы утешать тебя!

Доживши теперь до того возраста, который греки называли концом пира, я не прочь припомнить за моим печальным десертом некоторые из песенок того времени радости и дружбы.

Мы дали своим сходкам название “Монастырь беззаботных”, и я в честь этого события сочинил куплеты на мотив “Летамини”:

Мы братством беззаботных
Свой монастырь зовем.
Собираемся охотно.
Обычно вшестером.
Тут заповедь Одна:
Садись и пей до дна!

Обычай установлен:
Кто хочет к нам вступить--
Под нашей только кровлей
Обязан пить и есть.
Тут заповедь одна:
Садись и пей до дна!

Не звоном колокольным,
А песней знак даем
Педантам богомольным
О празднике своем.
Тут заповедь одна:
Садись и пей до дна!

Усердно молим бога,
Чтоб слать грозу и град
Он подождет немного,
Сберег нам виноград...
Тут заповедь одна:
Садись и пей до дна!

На исповедь, девицы,
Спешите только к нам?
Монахини-сестрицы,
Игумен нужен вам.
Тут заповедь одна:
Садись и пей до дна!

Пусть дружба мир упрочит!
Я верю: ни один
Из братьев не захочет
Расстричься до седин!
Тут заповедь одна:
Садись и пей до дна!

Возвратясь в 1809 году в Перонну, я приветствовал нашу общину стихами:

В монастыре я снова...
Собратьям мой привет!
Бездельника иного
Блестящий манит свет,--
Но ангел, мой хранитель,
Ниспосланный с небес,
Зовет в сию обитель,
Чтоб я душой воскрес.

Стучу я в дверь стаканом:
Усердный прозелит
К своим собратьям рьяным,
Таким же полупьяным,
Вернуться вновь спешит.

Траппист бубнит--что проку?
"Удел наш--умереть..."
Но, покоряясь року,
Мы смерть хотим презреть.
Умрем и мы, конечно,
Но хныкать погодим:
Жить весело, беспечно
Покамест мы хотим.

Стучу я в дверь стаканом... и т. д.

Учили тамплиеры
Всех истине простой,
Что лучше вкус мадеры,
Чем вкус воды святой!
Мы шутим, пьем, болтаем...

Унынья не стерпев,
Псалмам предпочитаем
Вакхический напев.

Стучу я в дверь стаканом... и т. д.

Я, братцы, видел черта...
Взор, голос так нежны!
А ножка, грудь!.. Не спорьте,
Мы все обречены.
Но спасся, слава богу,
Я от бесовских чар,
Нашел сюда дорогу--
И весел, как школяр...

Стучу я в дверь стаканом:
Усердный прозелит,
К своим собратьям рьяным,
Таким же полупьяным,
Вернуться вновь спешит.

Но мне часто приходилось оставлять Перонну, и я писал прощальные куплеты:

Друзья, не надо горевать!
Пусть за столом царит веселье.
Все странствуют, и нам опять
Удастся справить новоселье.
Так до свиданья! Брат-монах
Вас прижимает к сердцу ближе,
Надеясь встретить на пирах,
Когда вы будете в Париже.

Друзья, не надо горевать... и т. д.

Без долгих сборов я сейчас
Отправляюсь весело в дорогу.
Воспоминания о вас--
Вот весь багаж мой, слава богу.

Друзья, не надо горевать... и т. д.

Мы молоды, и день любой
Встречаем пеонею хвалебной:
Ведет надежда за собой
Под звуки музыки волшебной.

Друзья, не надо горевать... и т. д.

Пешком, в карете ль--знаю я,
 Что путь--к одной и той же цели,
 И счастлив тот, кого друзья
 В дорогу проводить успели!..

Друзья, не надо горевать!..
 Пусть за столом царит веселье.
 Все странствуют, и нам опять
 Удастся справить новоселье.

Вот другой отъезд:

Ну, друзья, пора проститься!
 Час разлуки настает...
 Мне позволит возвратиться
 Только времени полет.

Покидаю кров уютный,
 Где когда-то я нашел,
 Одиноким, бесприютным,
 Утешение от зол.

Ну, друзья, пора проститься... и т. д.

Мы должны за счастьем гнаться,--
 Говорят нам... Нет, друзья!
 С ним я вынужден расстаться:
 От него уеду я.

Ну, друзья, пора проститься... и т. д.

Кто бокал неосторожно
 Бьет, вздыхая глубоко?
 Да, увидеть в подорожной
 Имя друга нелегко.

Ну, друзья, пора проститься... и т. д.

Может, в путь чрезмерно дальний
 Я сегодня ухожу...
 Все же будьте беспечальны:
 Вам дорогу укажу.

Ну, друзья, пора проститься!
 Час разлуки настает...
 Мне позволит возвратиться

Только времени полет.

Однажды я прибыл в Перонну на праздник патрона типографов—св. Иоанна, что у Латинских ворот Я отправился вместе с рабочими поднести букет старику папаше Ленэ, моему первому хозяину; в кол паке и в переднике из бумаги, я пропел ему и его же не песенку:

Надел колпак я и передник...
Почтенье, дядюшка Ленэ!
Ваш ученик и собеседник
Не позабыл об этом дне.

Если в сердце дружба
Запечатлена--
Напечатать нужно,
Что велит она!

Скорей беритесь за верстатки,
Кто в орфографии силен,
А мы--за пресс! Пусть опечатки
Корректор правит,--где же он?

Если в сердце дружба и т. д.

Святой! Вернуть меня ты вправе
К наборной кассе... Ведь давно
Искусство это близко к славе,
Меня кормило бы оно!

Если в сердце дружба
Запечатлена--
Напечатать нужно,
Что велит она!

Эти песенки возвращают меня к счастливым воспоминаниям и говорят мне о друзьях, из которых многие, увы, прежде меня сошли в могилу. Я написал тогда и несколько сумасбродных песенок, наделавших немало шуму в нашей стороне. Одна из них чуть-чуть не причинила мне серьезных неприятностей.

В Перонне существовало, а может быть, еще и теперь существует, общество стрелков из лука. Я как раз был в городе, когда эти господа стреляли в сойку—деревянную разрисованную птицу, прикрепленную на верхушке мачты высотой в пятьдесят футов. Они стреляли по два раза, и ни один не попал. Я наскоро набросал нечто вроде водевиля, и вот он пошел гулять по городу с прибавлением двух десятков эпиграмм, назатейливых, но колких, насчет каждого неудачливого стрелка. Скандал был большой, сам Дирон в Боне не произвел большего смятения своим неблагоразумием в том же роде. И если бы я не поспешил уехать из города, была бы мне беда! От министров и даже от королей можно отделаться тюремным заключением или денежным штрафом, а наши рыцари-стрелки и

не подумали бы помириться на такой безделице. Но добрые пикардийцы так же быстро успокаиваются, как и выходят из себя. Они простили мне мою шалость и сами стали смеяться.

А я мог возвратиться в Перонну и снова распевать свои песни в городе, который по стольким причинам так дорог мне. Вот песня возвращения:

В этом городе--глупцов
Раздразнил язык мой острый.
Что же делать? Я таков--
Не люблю я дураков.
Не простили мне вину:
Глупость, злоба--это сестры.
Не простили мне вину:
Объявили мне войну.

Рассердились как--беда!
И в меня без проволочек
Целят... Ах, я никогда
Сойкой не был, господа!
Шуткой метче я стрельну:
Тут и зазвенит звоночек⁷⁷.
Шуткой метче я стрельну...
Объявили мне войну.

Этим злобным дуракам
Вспомнить надобно Пирона⁷⁸.
Он педантам и ханжам
Досаждал и здесь и там...
Как Пирону в старину
Обыватели Перонны,
Как Пирону в старину,
Объявили мне войну.

За подмогой к вам бегу...
Эй, друзья!
Сюда, собратья!
С вашей помощью смогу
Дать и я отпор врагу.
Мы стаканы сдвинем... Ну!
Скука--враг всем без изъятья.
Мы стаканы сдвинем... Ну!
Объявляем ей войну.

Любопытно, быть может, взглянуть и на другую сторону жизни молодого человека. Наряду с этими радостными песнями, из которых самые веселые я (ставший столь благоразумным) не смею привести, приступы тоски внушали мне стихи вроде нижеследующих:

Заря⁷⁹

Заря моей весны все меркнет, угасает,
Уходит навсегда.
Зачем родился я? Зачем живу? Кто знает?
Зачем бегут года?

Росинки на траве, как слезы, засверкали...
Распустятся цветы.
Но высохла роса, и вот цветы увяли!..
Увянут и мечты.

Пока еще поют беспечно птичьи хоры,
Но близок птицелов.
Их песни, как мои, унылы станут скоро,
Унылы и без слов.

О жалкий человек! Так слаб он, и напрасно
Он жизнью дорожит.
Как рано б он ни встал--пути его всечасно
Несчастье сторожит.

Мне двадцать пятый год... Ужели не осталось
Запаса юных сил?
Ужель не для меня природа улыбалась
И солнца луч светил?

Глаза, как пеленой, мне время закрывало,
Я слеп был до сих пор.
Но мчится прочь оно... Спадает покрывало,
И старость видит взор.

Так странник в темноте, путь истинный не зная,
Лишен проводника,
У края пропасти окажется, блуждая,
А пропасть глубока.

Да, старость вижу я... Дрожащими ногами
Ступая, как во сне,
Подходит... Подошла... Холодными руками
Сжимает сердце мне.

Так солнца яркий луч в берлогах пробуждает
Опаснейших зверей.
Хоть ярко светит он, но человек страдает
Все больше, все острее.

Мечтанья о любви, и сладостной и нежной,
 Исчезнуть вы должны.
 Я умереть хочу, коль это неизбежно,
 С зарей своей весны.

Я привел много юношеских воспоминаний и много цитат. Возвратимся же к другим происшествиям моей жизни.

Когда я получил место, меня постигло горе—я потерял отца, умершего от апоплексического удара пятидесяти девяти лет от роду, в то самое время, когда у меня явилась надежда обеспечить его получше.

Вскоре после этого сестра моя вместе со своей теткой, у которой она работала, вступила в монастырь. Сколь я ни старался всякими разумными советами отвлечь Софи от ее решения, принятого в двадцать два года, вероятно из боязни быть со временем в тягость мне, она была непреклонна и впоследствии благословляла судьбу, как и ее старая тетка. Они нашли в монастыре покой и помощь, в которых свет наверное бы им отказал.

При учреждении императорского университета Арно выхлопотал мне место в университетской канцелярии. Он представил меня ректору Фонтану, многим обязанному г-ну Люсьену, отчего, впрочем, Фонтан не стал ко мне внимательнее, хотя Арно и расхваливал ему мои литературные опыты.

Сначала мне предложили на выбор две должности—с двумя и тремя тысячами франков жалованья. Я выбрал низшую, должность экспедитора,—как известно, совсем необременительную для ума, что весьма подходило рифмачу. Это была ошибка: с тремя тысячами франков я мог бы приносить своим гораздо больше пользы; но я еще не дошел до того, чтобы ставить долг выше своих склонностей. И в результате получилось, что г-н де Фонтан, видя, как мало я обращаю внимания на высокие оклады, ограничился, несмотря на настойчивые просьбы Арно, обещанием места в тысячу франков—хуже оплачиваемого не оказалось. Меня это не так уж огорчило, хотя мне и понадобилось потом лет восемь-девять, чтобы от прибавки к прибавке дойти до жалованья в две тысячи, обещанного вначале. Г-н де Фонтан давно уже перестал быть ректором, когда меня сделали таким богачом.

Едва эта должность досталась мне, как новая тягота была возложена на меня⁸⁰ провидением. Я принял ее, как и все тяготы, которые оно посылало мне прежде. А в этой я мог бы даже видеть утеху своей старости. Но вышло не так, и я несу ее без чувства удовлетворения, но и без ропота. Странно, что, я, с давних пор предчувствуя ненадежность своего поприща и уклоняясь от всего, что могло бы увеличить ношу бедного странника, добился лишь того, что она становилась все тяжелее. Меня поддерживала одна только надежда на бога, и не моя вина в том, что те, чья судьба была предметом моих постоянных забот, не умели извлечь для себя выгод из всех лишений, которым я подвергал себя, чтобы избавить их от рытвин жизненного пути, подобного моему.

Часто я жаловался на это. Но у какого сердца нет своей язвы? У старого солдата всегда есть рана, готовая открыться.

Я не желал другого счастья,—и это совершенная правда,—как сделать счастливыми других, по крайней мере тех, кто окружал меня. Но молитвы мои не были услышаны.

Назло некоторым сумасбродствам юности и несмотря на тернии, которые впиваются в ноги тех, кто идет по пути нужды,—с этих пор в жизни моей стало больше порядка. Я

выходил уже из критической поры,—критической в особенности для людей, разум которых развивается сам собой и, так сказать, назначу. Между двадцатью шестью и тридцатью годами в них происходит борьба воображения, возбужденного чувствами, с разумом, озаряемым первым опытом жизни. И разум не всегда торжествует. Но какой бы ни был исход, поле битвы бывает всегда глубоко взрыто. Во мне эта борьба была долгой и мучительной, и были минуты, когда мне казалось, что я схожу с ума. Наконец рассудок восторжествовал: вскоре у меня на душе стало яснее, приступы меланхолии исчезли. Я стал видеть людей такими, каковы они на самом деле, и терпимость к их слабостям начала проникать в мой ум. С тех пор моя веселость, прежде шумная и беспорядочная, стала спокойной и сдержанной; я редко расставался с нею в обществе и всегда наслаждался ею в моем уединении или же в кругу друзей, для которых она часто была утехой, а это дает мне основание сказать, что она “не оскорбляла печали других”.

Тогда же я сделал огромные усилия, чтобы усовершенствовать свой стиль. У меня не было недостатка в идеях, удачных или неудачных. Но мне не хватало строгости в выборе выражений. Когда учишься, предоставленный самому себе, дело подвигается медленно. Я научился терпеливо высиживать свою мысль, ждать, пока она проклюнет свою скорлупу, и старался схватить ее там, где это было выгоднее всего. Я пришел к убеждению, что любому сюжету должен соответствовать свой грамматический строй, свой словарь и даже своя манера стихосложения, и только в элегии не требуется большой точности рифмы. Я касаюсь этих подробностей ради тех людей, кто полагает, что можно хорошо писать, кое-как роняя на бумагу слова, не утруждая себя раздумьем, а также не подготовив себя предварительно чтением книг. Если так будет продолжаться, то, пожалуй, найдутся люди, которые примутся писать, не научившись чтению. Правда, есть гении, которым все дается без больших усилий. Но кто вправе считать себя гением?

Поправки, сделанные мною в черновике моей незаконченной пасторальной поэмы, были такою работою, которая открыла мне много тайн нашего языка. Я писал оды и дифирамбы, но скоро увидел, что эти экзотические растения, перенесенные к нам из античного мира, не пускали на новой почве глубоких корней, несмотря на заслуги наших великих лириков. Не знаю, прав ли я, но мне все кажется, что ода, как мы ее сочиняем, ведет к напыщенности, то есть почти что к фальши, и нет ничего более противоречащего французскому духу, для которого простое—необходимый элемент возвышенного, как это доказывает красноречие Боссюэ и самые прекрасные места у Корнеля. Часто приводят цитаты из Пиндара, которого, может быть, никто и не понимает; но какое различие между современными поэтами и греческим лириком! Ведь тот действительно выступал как настоящий жрец перед двадцатью братскими народами, собравшимися на Олимпе; прославлял героев, родину и богов и, окруженный хорами поющих и танцующих граждан, читал свои стихи голосом, усиливаемым, музыкой! У нас поэт, в глазах равнодушных читателей, всегда стоит где-то вне своего творения, и это обстоятельство должно бы подсказывать ему необходимость отчетливой общей идеи при разработке почти всех его сюжетов. Именно вниманием к этой стороне творчества должен прежде всего знаменоваться его гений, а не потоком стихов, без сомнения прекрасных, но напоминающих о той сказочной принцессе, которая рта не могла открыть, не роняя из него потоков жемчуга, рубинов и изумрудов,—бедная принцесса!

Если я впал здесь в литературную ересь, то да простят мне это наши академики, которые так сильны в латинском и греческом языках! Так или иначе, я оставил оду и дифирамб и сжег напыщенный томик, внушавший мне нелепые надежды. Говорят, ничто не светит так ярко, как пламя рукописей, мужественно брошенных в огонь. Если это так,

то я должен бы обладать большой ясностью зрения. Я знавал поэтов, которые сберегали все свои стихи до последнего. Я же не сохранил и четверти своих, а теперь вижу, что и то уцелело слишком много.

Из всего сейчас мною сказанного можно понять, какую я всегда испытывал досаду, когда, желая похвалить мои песни, их называли “одами”. Кажется, нам очень трудно сбросить с себя всякого рода аристократию, а в литературе аристократия жанров все еще не перестает господствовать вопреки могучим усилиям так называемой романтической школы. В этом отношении, как и во многих других, я очень благодарен этой школе. Стих “учителя”⁸¹, не захотевшего дать места басне в своем “Поэтическом искусстве”: “Даже и в песне простой ум и искусство нужны”, — остался, по мнению многих, наивысшей оценкой того рода стихотворений, которому я в конце концов посвятил все свое время и свои заботы. Отсюда, от этого пренебрежения к песне, произошло и название “ода”⁸², данное тем из моих песен, которые относили к высшему роду, несмотря на действительное совпадение в значении обоих слов. Но я слышал от самого Руже де Лилия, что он, напротив, сердился, когда его “Марсельезу” называли песней. О, если бы при чтении этих рассуждений мне не поставили в вину ничего, кроме защиты личных интересов! Этот упрек я мог бы игнорировать ради того жанра, которому я столь многим обязан.

Я дошел до 1813 года, с которого начинается моя известность, — как раз в это время я потерял уже всякую надежду достигнуть ее когда-нибудь.

Читатель видел, что я всегда писал песни, как бы ни были разнообразны другие мои работы. По нескромности моего отца несколько песенок, сочиненных мною с единственной целью позабавить наш I тесный кружок друзей, были напечатаны в одном из многочисленных новогодних сборников, которыми тогда типографии наводняли рынок. Но они остались незамеченными, да другого и не стоили.

Наконец рукописные копии “Знатного приятеля”, “Как яблочко румян”, “Бедноты” и в особенности “Короля Ивето” познакомили с моим именем любителей песни, всегда столь многочисленных во Франции. Некоторые из этих песен были напечатаны. Но последняя, известная только в рукописи, стала предметом особого внимания. При всей умеренности в этой песне критики императорского правительства в ту пору, когда всеобщее онемение было уже в порядке вещей, — песенке этой выпала удача: полиция преследовала ее по пятам. По обработке стиха и точности рифмы ее сначала приписывали людям высокого ранга, что и вынудило меня просить друзей, особенно Арно, объявить о моем авторстве тем, которым, по слухам, было поручено узнать имя автора. Часто говорили, что эта песня навлекла на меня гонения; совсем нет, и у меня есть даже основания полагать, что ее читал сам император⁸³.

Многие из моих игривых песенок тоже гуляли так по свету. Они имели тем больший успех, чем более походили на песни Коле, которые Оже, королевский цензор, переиздал в начале Реставрации. Песенки мои были написаны совсем не для печати, но друзья, для которых они только и предназначались, без всякого стеснения распространяли их в копиях. К счастью, эти стихи были столько же изображением их собственных нравов, как и моих.

Но сознаюсь, что мои принципы совсем не согласовались с правилами высшего общества, которое стало приглашать меня в свои салоны. Я мог противопоставить лицемерию некоторых его законов мой зрелый возраст, устоявшиеся идеи и характер, уже закаленный несчастьями. Это и служило мне защитой от опасностей, какие молодой талант может встретить в высшем кругу, где часто разбиваются его силы и где он теряет свою самобытность. Сколько благородных помыслов и великих планов преждевременно

погибло от воздуха, которым дышат там, где царствуют роскошь и мода! Но не предполагайте коварного умысла у тех, которые вас вводят или же принимают в большой свет! Они благоволят к вам и даже не подозревают зла, которое вам причиняют. Не позволяйте же увлечь себя в раззолоченные салоны! Они вскоре оторвут вас от друзей вашего детства и молодости, которым не так посчастливилось, как вам, но которым вы, без сомнения, хоть отчасти обязаны своими первыми силами. Я, человек уже опытный, судорожно уцепился за свою колыбель и за старых друзей. Сколько раз, бывало, после великолепных пиров с какими-нибудь новыми знакомыми, я приходил на другой день обедать в плохонькую харчевню или в мансарду, чтобы снова закалиться в кругу моих товарищей по бедности! Если бы я делал это даже для того только, чтобы свободно наговориться, то и это было бы >уже благоразумием с моей стороны. Выигрыш был и в том, что я не становился чужд низшим классам, петъ для которых был мой долг и улучшению положения коих я хотел содействовать.

Хотя общество богатых людей гораздо более задавило талантов, чем взлелеяло их, я считаю, однако, что некоторым умам полезно познакомиться с ним. Обозреть это общество и было целью моей прогулки, моего кругосветного путешествия. Закончив его, когда мне перевалило уже за пятьдесят лет, я оставил это общество без сожаления, хотя посещал его не без удовольствия и пользы. Благодаря этому странствованию я приобрел превосходных друзей, и у меня остались приятные воспоминания. Кроме того, я обязан ему тем открытием, что и в высших классах есть сердца добрые и благородные, как и в других слоях общества. Но, к несчастью, доброта в высших классах часто становится рабой привычек, праздности, требований роскоши и дурных идей, а все это вместе и создает обособленный круг.

В 1813 году существовало общество песенников⁸⁴ и литераторов, основанное за несколько лет до того и носившее название “Погребок”, на память о погребке, прославленном Пироном, Панаром, Колле, Галле⁸⁵ и обоими Кребийонами—отцом и сыном. Дезожье⁸⁶ по смерти старика Ложона⁸⁷ был избран председателем этого общества, песни которого находились в таком странном противоречии с бедствиями, угрожавшими Франции. Я недолюбливал литературные объединения, и мысль стать членом одного из них не приходила мне в голову, но случаю было угодно, чтобы я стал членом “Погребка”. Дезожье где-то прочел мои куплеты и захотел познакомиться со мной. Арно и граф Реньо де Сен-Жан д’Анжели⁸⁸ устроили без моего ведома обед у брата маршала Сюше, куда Арно, опасаясь моей дикой застенчивости,, привел меня, притворившись, что ведет обедать в ресторан. Дезожье дожидался меня там.

Между нами быстро установились короткие отношения,—еще не дождавшись десерта, он уже говорил мне “ты”. Моя врожденная сдержанность, пожалуй, и оскорбилась бы этим. Но привычка судить о людях по первому-взгляду могла внушить мне лишь благоприятное впечатление об этом превосходном человеке со столь веселым выражением лица. Я почувствовал к нему истинное влечение и не отговаривался, когда он стал настойчиво предлагать мне пообедать хотя бы один раз в “Погребке” со всеми его коллегами, которых я знал только по имени.

Я пошел туда в назначенный день и пропел там много песен. Все были удивлены, как это я, будучи столь богат произведениями такого рода, и не подумал еще опубликовать их. “Он должен быть нашим!”—воскликнули все единодушно.

Чтобы не нарушать правила, запрещающего избирать кандидата в присутствии его самого, меня выставили за дверь, со стаканом шампанского в одной руке и с бисквитом в другой. Я симпровизировал там несколько куплетов в благодарность за мое единодушное

избрание, при шуме тостов и всеобщих объятиях.

Старый шевалье де Пиис⁸⁹, член “Погребка”, не присутствовавший на обеде, протестовал против моего избрания: так, даже у самой скромной славы-найдутся свои завистники. И не потому ли, что она придает столько же гордости, сколько и великая слава?

У Пииса был истинный талант и много остроумия. Но по характеру он вовсе не похож был на Дезожье и готов был обвинить любую рождающуюся славу в упадке своей собственной, — порок, весьма обыкновенный у литературных инвалидов. Когда позднее стала популярна моя песня “Добрый бог”, он в ответ написал свою песню и, напечатав ее в официальных изданиях, преподнес Людовику XVIII. Этот государь, обладавший превосходной памятью, должно быть, всласть посмеялся над новым отречением человека, который, состоя когда-то на службе у графа д’Артуа, затем не менее старательно воспевал по очереди все революционные правительства, и даже переливание колоколов и добродетели Марата.

Пиис впал в бедность во время Реставрации и добивался пенсии, которую, к несчастью, не мог получить. Он не был дурным человеком, хотя злоупотреблял положением, которое ему при Империи давало место генерального секретаря полицейской префектуры, рассылая многим лицам полные собрания своих сочинений. Кто осмелился бы тогда отказаться принять их и не заплатить за восемь томов in-octavo? Жандармы распределяли по домам эти книги. Пожалею об авторе, который вынужден прибегать к таким книгопродавцам, особенно если он пережил и свою известность, не лишенную в свое время блеска.

Несмотря на мое предубеждение, против всяких литературных обществ, я сердечно был тронут радушием и аплодисментами, с которыми меня приняли в “Погребке”. С этого дня моя известность как песенника стала распространяться и в Париже и во всей Франции. Тем не менее я не мог долго обольщаться относительно целесообразности моего общения с людьми, весь строй жизни которых столь разнился от моих привычек, каковы бы ни были литературные достоинства и личные качества многих из них. Театральные интересы и закулисные интриги преобладали в их разговорах, иногда полных едкости, порождаемой соперничеством. Я любил застольные удовольствия за сердечную откровенность и за остроумные шутки, к которым они располагают. Но мне всегда хотелось, чтобы к этим удовольствиям примешивалось немного философии, и особенно — чтобы в них ощущалась прелесть дружбы. Я был далек от современного “Погребка”. Впрочем, и старый, восхваляемый нашими отцами⁹⁰, верно, был не лучше в этом отношении: в обществах, притязавших на название веселых, радость — редкая гостья.

Арман Гуффэ⁹¹, который так благосклонно отнесся ко мне, был председателем “Погребка”, но оставил его потом, как говорили, из зависти к успехам Дезожье, которого сам же туда ввел. Не ему было веселить это общество, хотя он и был одним из остроумнейших и искуснейших куплетистов. Его жанр, одинаковый с панаровским, едва ли может назваться песней: это скорее водевиль, где автор связывает несколько куплетов какой-либо поговоркой или даже словечком в рефрене. В этом жанре Гуффэ сохраняет неоспоримое первенство, а в наши дни именно он тщательно следил еще и за правильностью стиха и богатством рифмы, которыми так пренебрегали у нас со времен Людовика XIV. Странно, что именно поэты-песенники снова ввели у нас в обиход богатую рифму, — ведь и я тоже очень рано стал рифмовать с большой точностью. Новой школе⁹², без сомнения, не нужен был этот пример. Но она, вероятно, согласится с тем, что я опередил ее в одной из ее самых удачных реформ.

Когда настали предсмертные конвульсии Империи, особенно Сто дней, различие мнений не замедлило посеять несогласие в нашем обществе, так же как и во всей Франции. Мой патриотизм больше не мог уживаться со всем тем, что я видел и слышал во время наших обедов. И я дезертировал; впрочем, чтобы уйти оттуда, достаточно было бы и того маленького происшествия, о котором я сейчас расскажу.

Однажды я получил от Балена, знаменитого ресторатора “Рошэ де Конкаль”, письмо, которым он приглашал меня на семейный обед. Полагая, что он пожелал отблагодарить меня как секретаря “Погребка”, по случаю состоявшихся расчетов с нашим обществом, я пришел к нему в назначенный час. Меня проводили в особый кабинет, где я застаю Дезожье, Жантиля⁹³ и нескольких незнакомых мне лиц. Я замечаю с удивлением, что все садятся за стол, не дожидаясь Балена, и сомнение овладевает мной. Я бросаю обед, бегу к нашему амфитриону и объявляю ему, что если он не займет свое место за столом, то я покидаю собравшихся гостей. Очень неохотно расстался он с кухонным очагом и пришел обедать с нами. При входе его Дезожье улыбнулся, а после обеда поспешил объяснить мне обычаи, заведенные в нашем ресторане. Посторонние заказывали здесь обед за несколько дней вперед и оставляли ресторатору список имен тех членов “Погребка”, которых желали видеть за столом, — точь-в-точь как заказывают индейку с трюфелями или редкую рыбу. Песня, истинное наслаждение десерта, заставляла самых достойнейших из нашего круга снисходить к этой унижительней роли. Дезожье, который, как я уверен, действовал так только из подражания другим, смеясь называл меня недотрогой.

— Так знай же, — сказал он, — многие наши товарищи жалуются, что их недостаточно часто приглашают! Бален мог бы подать блюдо не такое кислое, каким оказался ты, неблагодарный! Кое-кто из наших собратий недобрым словом помянет его нынче вечером.

Кончилось тем, что я сам стал смеяться над этим приключением. Но оно было для меня полезным уроком, так же как и для Балена, потому что он уже более не осмеливался подавать меня в виде угощения своим клиентам.

Увы! Вскоре после этого мне пришлось расстаться с Дезожье, хотя я не только восхищался его талантом, но любил и его самого. По слабости своего характера он сделался игрушкой окружавших его интриганов: едва его назначили, по расположению к нему министерства, директором Водевиля, он выказал такой политический фанатизм, какого нельзя было от него ожидать при его врожденной доброте и беспечности. Он совершенно не подходил к подобным занятиям. Его роялизм не разлучил нас, и я искренне радовался его назначению директором. Но когда в песенке по поводу “Германика” он напал на тех, кто были во времена Империи его друзьями, я не без сожаления расстался с ним; и, сказать правду, он тоже очень огорчился этим, как можно было заметить при наших случайных встречах. Его уверяли, что песня “Паяц” была направлена против него. Он написал ответ, довольно слабый. Затем, одумавшись, он сказал мне однажды при встрече, происшедшей в его театре: “Нет, ты нападал не на меня: ведь я не прыгал во время Ста дней”. И наконец добились еще худшего: под чужим влиянием он поглумился в одной песенке над бедствиями Франции.

И в самом деле, я вовсе не думал о нем, когда писал “Паяца”. Всегда нападал я только на высокопоставленных лиц, которые были в состоянии отомстить за себя. Я постыдился бы набрасываться на собратьев, которые опрометчиво отрекались от своих политических взглядов, — особенно тогда, когда они сами меня не трогали. Но вот появилась песня, каждый куплет которой был едкою и весьма остроумною эпиграммой на Дезожье: незадолго до того ему от лица Людовика XVIII была поднесена серебряная суповая ваза. Я

знал, что эту песенку приписывали мне (как и множество всякого рода других песен). Я написал ему, что знаю ее только понаслышке.

Вот его ответ: “Каковы бы ни были талант и темперамент этих куплетов, они исходят от злого сердца: и потому ты поверишь, если я скажу, что даже и не подозревал тебя. Пожалуй, я назову тебе их автора, если ты сам еще не отгадал, кто он”.

Мне приятно вспоминать о своем знакомстве с этим любезным человеком, и я всегда сожалел, что принужден был прекратить с ним сношения, которые, вероятно, были бы и ему не бесполезны. Дезожье, такой веселый в обществе, особенно же за столом, где он действительно царил, не мог переносить даже минутного уединения. Оттого-то так легко было повлиять на него. “Как, ты можешь оставаться один? — говорил он мне однажды. — А я умер бы в одиночестве, снедаемый тоской. Меня зовут веселым Дезожье, но, в сущности, во мне много печали”. Истину этих слов подтвердил Жантиль, друг его детства. И если правда, что его веселость была только ролью, принятой для того, чтобы поразвлечься, то можно утвердительно сказать, что не было актера искуснее Дезожье.

Мне не хотелось бы говорить здесь о политике; я уже рассказал в другом месте, какое грустное впечатление произвели на меня два вторжения иностранцев во Францию. Мои песни, если они переживут меня, могут служить тому ясным доказательством.

Но так как всё, что происходит на улице, часто вдохновляет, песенника, то я хочу рассказать о некоторых происшествиях, которых я был очевидцем или о которых слышал от заслуживающих доверия свидетелей. История слишком уж пренебрегает мелкими подробностями; мне думается, что сохранить их, как бы ни казались они незначительными, значит оказать ей услугу. Она может найти в них отражение народных мыслей, которыми, кажется, вовсе не дорожит. Какое это скверное обыкновение: изображая эпоху, взять несколько фигур и привести их в порядок или загримировать по своему произволу, подняв на пьедестал своего литературного стиля.

В 1814 году я жил недалеко от заставы Рошешуар, которой 30 марта отдали салют несколько вражеских гранат. Я знал, как ничтожны были приготовления к обороне, и полагал, что в течение дня неприятель завладеет и моей комнатой. У меня была отличная позиция: из моего окна виден был Париж с его окрестностями.

После канонады, встретившей серьезный отпор только со стороны Менильмонтана, — где битва была долгой и ожесточенной (там геройски сражались воспитанники Политехнической и Сен-Сирской школ), я увидел около пяти часов отряд кавалерии, направлявшийся к возвышенности Монмартр по пологому спуску от Клиши. Это гусары, они медленно поднимаются наши ли они? Вот они уже возле мельниц. Я шаг за шагом слежу за ними с помощью подзорной трубки, замирая от тревоги: головы их лошадей повернулись к Парижу. Боже мой! Это неприятель! И он уже овладел высотами, так худо защищенными.

Вскоре замолкает ружейная и пушечная стрельба. Ужас мой увеличивается, и я выходку на улицу, чтобы узнать о новостях. Пробираясь между носилками, на которых несут раненых, и беспорядочно движущимися фургонами, я спешу к бульварам и там узнаю, что мое горестное предчувствие оправдалось: капитуляция подписана адъютантами герцога Рагузского⁹⁴. Этот маршал, давно уже искушаемый заговорщиками-роялистами (я уверен в этом факте), вел себя прекрасно во время всего сражения, но затем осмелился дать сигнал к сдаче неприятелю.

Рабочий люд, собравшийся позади оборонительной линии, которую мне хотелось видеть этим утром, весь день ожидал приезда императора, находившегося в нескольких лье отсюда. Ждали победы. И едва показывался вдали на равнине генерал на белом коне в

сопровождении нескольких офицеров, как в толпе раздавался крик: “Вот он! Вот он!” Никто и не подозревал, что Парижу угрожает серьезная опасность. А когда распространилась весть о капитуляции, надо было видеть изумление и бешенство этой любившей сражения и готовой к борьбе мужественной толпы, весь день не перестававшей просить оружия, которое, однако, поостереглись ей выдать. Я тоже напрасно выпрашивал ружье у тех, которым, как я слышал, была поручена раздача.

Мне всегда казалось, что я храбро вел бы себя в этот день. С уверенностью скажу, что многого я ни за что не сделал бы: я не поддался бы коварным внушениям; не протянул бы руки врагам родины; не стал бы подписывать капитуляцию, которую можно было бы оттянуть по крайней мере дня на два одним только отказом впустить вражескую армию, слишком слабую, чтобы она дерзнула вторгнуться в такой многолюдный город, — вот чего никогда не смогли бы у меня вынудить и под угрозой ужаснейшей смерти. Но требования тактики и стратегии были соблюдены; из пушек дали столько выстрелов, сколько положено дать за день; народ ставили ни во что; честь мундира была спасена, и люди прославленной храбрости не колебались подписать акт о сдаче столицы, то есть акт о порабощении своей родины!

Уверившись, что капитуляция в самом деле подписана, я провел весьма печальную ночь в моей жалкой каморке, по соседству с лагерем чужеземцев. И варвары и цивилизованные, все они, эти солдаты, из коих некоторые, может быть, видели Великую китайскую стену, казалось нашли отдых в этой радости триумфа. До самого утра слышны были пляски пришельцев и дикие крики, смешанные со звуком рожков немцев, казаков и башкир. И я видел огни их костров, зажженных, к нашему стыду, на Монмартре, где я так часто на закате солнца мечтал, любуясь видом Парижа, расстилавшегося у моих ног.

Чуть свет я бросился за новостями и узнал из расклеенных ночью обращений, что всякая надежда потеряна и что те, кого отныне будут называть “союзниками”, вступят в город через несколько часов. Небольшие анонимные листовки еще распространялись в толпе, взывая к сопротивлению. Тщетные призывы! Император так приучил людей верить только в него, что лишь один его голос мог бы рассеять сомнения, внушить бодрость, а главное — направить все усилия в должном направлении.

Вполне убедившись в нашем несчастье, я решил было уйти домой, чтобы не быть свидетелем зрелища, бесчестившего Париж. Но каково же было мое удивление, когда я заметил несколько белых кокард посреди групп, толпившихся на бульварах! Какой-то пьяный даже закричал подле меня: “Да здравствуют Бурбоны!” Толпа, казалось, ничего не понимала в этих первых роялистских демонстрациях, которые, однако, уже составлялись в еще больших размерах, в виде руководимых Дюкло и Мобреями⁹⁵ блестящих кавалькад герцогов, маркизов, графов, принадлежавших к старинному дворянству; было там и несколько интриганов, торопливо сбежавшихся, — чтобы урвать свою долю в добыче.

Известно, что русские и немцы при вступлении в Париж проявили вежливость, необычайную для победителей. Враги, казалось, входили с обнаженными головами в город Хлодвиг, Людовика Святого, Генриха IV, Людовика XIV и Наполеона, в этот город Учредительного собрания и Конвента, где в течение целых столетий непрерывно развивается великое и святое дело европейской демократии. Государи, без сомнения, припоминали все, чем обязаны нам цивилизация их народов и блеск их дворов. Почти все офицеры этой многочисленной армии говорили на языке побежденных и, казалось, даже не знали другого языка, прибегая к родной речи только затем, чтобы остановить редкие проявления грубости некоторых из своих солдат.

Около тысячи или тысячи двухсот сторонников Бурбонов (меня уверяют, что я вдвое преувеличиваю их число)—мужчины и женщины, дворяне или выдававшие себя за дворян люди,—стоя на балконах, любезно приветствовали любезных победителей; некоторые даже бросались на колени перед начальниками, целуя их запыленные сапоги, а в окнах махали белыми платками и восторженно кричали, шумно благословляя проходившую армию, удивленную подобным триумфом. Так это малодушное стадо французов попирало ногами трофеи двадцати пяти последних лет нашей славы, на глазах иноземцев, которые своим поведением показывали, что они все еще хранят о ней глубокую память.

Объятый сначала патриотическим негодованием, рабочий люд долго не мог опомниться от такой неожиданной перемены. Но он, более чем другие классы, нуждался в мире, и как раз это слово могло содействовать перемене его взглядов, благоприятной для режима, который подготовлялся Талейраном. Этот ловкий человек, так же как и император Александр, принял сторону старшей линии Бурбонов только для того, чтобы отделаться наконец от Наполеона. О разности же чувств, одушевлявших народную массу и роялистов—старых или новых, можно судить по двум фактам, совершившимся на моих глазах.

На следующий день после вступления иностранцев в Париж отряд немцев вел по улицам, населенным рабочими, сотню наших солдат, захваченных в плен в столице. Рабочие при виде раненых французов, залитых кровью, подумали, что их отправляют в госпиталь. Узнав же, что их ведут в неприятельскую штаб-квартиру на Елисейских полях, они подняли крик и решили было освободить этих несчастных, последних наших защитников; но тут, случайно или по благоразумию, начальники конвоя приказали повернуть на бульвары, где расположились ревностные роялисты, подстрекавшие своих агентов. Я был там; при виде наших несчастных пленников, страждущих от ран и изувеченных, из среды бурбоновских сторонников слышалось: “Виват!” Красивенькие господа и прекрасные дамы кинулись к окнам и аплодировали иностранным солдатам, не желая упустить случая принять участие в таком позоре. Тут не только была оскорблена родина, но здесь надругались над человечностью.

Зрелище не столь печальное, но не менее постыдное поразило меня на Ванд омской площади, где роялисты, о которых я только что говорил, изо всех сил старались сбросить статую императора с колонны, цоколь которой они расшатали. Понукая лошадей, люди, тоже впрягшиеся в длинную веревочную упряжь, пытались стащить огромную фигуру, остававшуюся непоколебимой; жожакам этого отряда так хотелось бы увидеть, как она разобьется о мостовую! Несмотря на страх, все еще парализовавший толпу и вызванный этой неожиданностью, оскорбление, наносимое солдату революции⁹⁶, вызвало сначала глухой ропот, за которым последовали раскаты хохота, возобновлявшиеся при каждом провале усилий новейших иконоборцев. И те принуждены были уйти, так и не приведя в исполнение свое разрушительное намерение.

Не думаю, чтобы из всего мною сказанного можно было заключить, что таково было поведение всех парижских легитимистов-дворян и богатых буржуа. В их особняках тоже был свой патриотизм, и каждая партия, без сомнения, обладала своими добродетелями.

Но вот какая странность! Сдача Парижа ни в чем не изменила образа жизни его обитателей. Утром, в день приступа, спектакли были объявлены, как всегда. И если вечером представления не состоялись, то, вероятно, потому, что и актерам и горожанам захотелось увидеть и услышать, что же будет происходить на улицах. Вступление иностранцев было новым видом развлечения, и на улицы повысыпало множество таких

людей, патриотизм которых был столь же несомненным, как и мой патриотизм. А когда их упрекали, они говорили: “Что же мы могли сделать? Почему император не приехал вовремя? Почему Мария-Луиза и Жозеф⁹⁷ покинули нас?”

Впрочем, если бы император мог тогда читать в умах народа, то он, конечно, признался бы себе в одной из своих самых больших ошибок, которую он совершил в силу особенностей своего гения. Он зажал рот прессе, отнял у народа всякую возможность свободного вмешательства в дела и таким-то образом изгладил принципы, которые глубоко запечатлела в гражданах наша революция; и это привело к тому, что в нас совершенно замерли ставшие столь естественными чувства. Его счастье долго заменяло нам патриотизм. Но так как он поглотил всю нацию, то и вся нация пала вместе с ним, и поэтому в нашем падении мы оказались перед лицом врага только теми, в кого он нас превратил. Тем не менее, скажем ему в похвалу, что если не считать простого народа, то он один был патриотом в этот торжественный час, и это доказывается его желанием сражаться до последнего патрона, а также той готовностью, с какою он согласился на отречение. Только он? Нет, был еще другой—один из наших старейших военачальников, ученый и воин, старый бескорыстный республиканец, изгнанный, покинутый и слишком поздно оцененный Наполеоном,—воин, который, увидев Францию в опасности, не послушался ни своего справедливого озлобления, ни даже своих убеждений, что при таких обстоятельствах знаменует высокую добродетель. Бесполезно объяснять, что я говорю о знаменитом Карно⁹⁸, который просил позволить ему сражаться и спас от разрушения Антверпен, тогда как мы, скрестив руки, сдали нашу столицу, к стенам которой спешил Наполеон, чтобы раздавить наших врагов.

Описывая свою молодость, я говорил, что и теперь мой патриотизм, несмотря на мои шестьдесят лет, сохранил весь пыл юности. Читатель, быть может, согласится, что в предшествующем описании я привел достаточно тому доказательств. Я слышал, как вожди философических школ, богатые банкиры или коммерсанты, салонные политики проповедовали абсолютный космополитизм. Я вовсе не осуждал тех чувств, которые будто бы их воодушевляли, я понимал их. Но они ошиблись эпохой.

Когда нация взяла на себя инициативу утвердить принцип, в особенности принцип демократии, и когда она находится в географическом положении, подобном нашему, то, хотя она и вправе надеяться на симпатии просвещенных людей у всех своих соседей,—врагами ее, тайными или явными, станут другие правительства, и особенно те, которые подчинены могущественной аристократии. А в борьбе с такими врагами все средства хороши.

Но беда такой нации, когда она увидит, как утасует любовь к ней, которая составляет долг ее граждан и в которой ее наибольшая сила! Сыны ее должны сплотиться вокруг ее знамени в целях победы принципа, утвердить который—ее миссия, осуществляемая на пользу другим народам. Но когда последние завоюют те же права, что и она, пусть умолкнут все соперничающие национальные самолюбия и антипатии, дошедшие в плоть и в кровь. Как! Неужели мы, французы, не поддержим в интересах великодушной идеи, стоившей нам уже столько крови, наш патриотизм, который англичане довели у себя до наглости и до жестокостей, совершаемых в интересах торговли чаем, индиго и хлопком!

Так будем же стремиться к тому, чтобы любовь к родине всегда была нашей первой добродетелью, и я особенно настаиваю на этом, обращаясь к нашим писателям, которые лучше, чем другие, могут проповедовать эту добродетель. Мне нет надобности напоминать, что мой всегдашний патриотизм никогда не мешал мне требовать и уважения к правам человечества и почетного сохранения мира, который лучше, чем

завоевательная политика, может обеспечить развитие принципов нашей революции. Как часто приходилось мне слышать после 1830 года такие слова: “Когда скрещиваются штывы — закрывается путь идеям”.

Въезд Людовика XVIII, на который и мне вздумалось посмотреть, являл странную пестроту. Неужели массами мог овладеть энтузиазм, когда они не знали даже, что это за личности, которых доставили сюда? Верно то, что из пятидесяти зрителей едва ли один ясно разбирался, в какой степени родства состоят эти принцы с Людовиком XVI. Король, которого, по заблуждению или со слов насмешников, многие ожидали увидеть в каком-то забавном одеянии, смотрел на толпу, хотя и больной, но приветливо и с достоинством, что большинству понравилось. В подобных церемониях старики вообще выигрывают.

Люди, подобно мне замешавшиеся в толпе, лишь кое-как могли рассмотреть второстепенные лица. Но из всего этого кортежа, который тем, кто привык видеть великолепие наполеоновских праздников, казался таким старомодным и жалким, всеобщее уважение было проявлено только к нескольким отрядам императорской гвардии, — их удалось заставить следовать за каретами нового, или, лучше сказать, старого двора. При виде этих мужественных лиц, покрытых шрамами, загоревших под солнцем многих стран, а теперь таких угрюмых, печальных и, кажется, смущенных белыми кокардами, которые им навязали, раздался со всех сторон крик: “Да здравствует императорская гвардия!” И даже те, кто кричал: “Да здравствует король!”, присоединили свои голоса к этому крику сторонников Империи, что составило самый странный контраст и, кажется, неприятно поразило слух принцев. Услышав этот полный гордости привет, старые храбрецы смелее подняли голову и отвечали возгласом: “Да здравствует национальная гвардия!” Оба приветствия смешивались друг с другом и возобновлялись снова и снова во все время шествия, вопреки дисциплине, запрещающей говорить под оружием. С этой минуты можно было предсказывать возвращение с Эльбы.

Людовик XVIII, которого Франция отвергала в течение почти целой четверти века, носил смешное прозвище: “Желанный”. Но была все же одна действительно желанная особа из этой семьи — герцогиня Ангулемская⁹⁹. Народ знал историю ее жизни: всякий сочувствовал ее несчастьям, все желали ей лучшей участи. И среди стольких бедствий все взоры искали ее, как ангела-утешителя. Увы! Ничто в ее лице, в манере держаться, в звуке ее голоса не отвечало нашим надеждам, и можно сказать, что со дня вступления в Париж она потеряла всю любовь, которой ее окружали во времена ее несчастий. Конечно, такая быстрая перемена несправедлива, и что до меня, то я всегда был убежден, что герцогиня достойна тех похвал, которыми, случалось, осыпали ее. Нельзя было сомневаться в ее добродетелях и милосердии. Но как могло случиться, что она, силу характера которой так превозносили, не оправдала ни одним действием этого мнения, хотя у женщины столь высокопоставленной всегда найдется случай снискать себе благословение народа? Разве героическая г-жа де ла Валетт¹⁰⁰ не ползала перед нею на коленях, тщетно вымаливая хотя бы слово сострадания? Об этом было ведь напечатано; хотел бы я дожидаться опровержения. Заметим, что те, кто был близок к герцогине Ангулемской, очень слабо действовали в ее пользу в народе, где сердца были сначала для нее открыты, но где скоро стали смотреть на нее только как на дочь “Австриячки”. Ведь не стоит скрывать, что ужасный конец несчастной Марии-Антуанетты не обелил ее в памяти парижского народа, сохранившего вообще какую-то инстинктивную ненависть к австрийской королевской крови. Несмотря на любовь к Наполеону и к римскому королю, народ никогда не любил Марию-Луизу, — и она слишком хорошо оправдала наши предчувствия¹⁰¹ и тот прием, какой Париж устроил ее достойному отцу в 1814 году.

Во время пребывания союзных государей в Париже Александр старался заслужить наши похвалы благородным великолепием, не лишенным прелести. Воздавали у нас должное и прусскому королю за его долгие злоключения, храбрость солдата и почти мещанскую простоту. Но когда появился император Франц—сколько нашлось для него проклятий и насмешек во всех слоях населения столицы! И почему только он не слышал всего, что было говорено по всему его пути, когда он показывался в публике! Быть может, он покраснел бы, несмотря на свою флегму.

У нас, парижан, восторженных почитателей великих дарований, великих добродетелей, навсегда подорван престиж дворянства и королевской власти. К какому бы сословию ни принадлежал человек, но если его поведение осудят, то он получит прозвище по заслугам. Предки наши были бы весьма удивлены, узнав, что в Париже народ самыми оскорбительными ругательствами клеймил австрийского императора, наследника Рудольфа Габсбургского и Карла V¹⁰². И притом во всеуслышание, да еще в ту самую минуту, когда эта же толпа высматривала, не видно ли где его прославленного брата, герцога Карла: его не было в Париже, но он был бы принят как великодушный и честный противник.

Иностранцы найдут, без сомнения, что я говорю слишком непочтительно о государях, явившихся на смотр к парижанам. Пусть же они подумают о том, как я и мои современники были воспитаны минувшими событиями,—и они перестанут этому удивляться. Конвент, рубивший головы королям, должен был бы убедиться на примере Англии¹⁰³, что он избрал далеко не лучшее средство для того, чтобы отрезвить нас от увлечения “их величествами”. Пришлось вмешаться провидению: оно артиллерийского подпоручика возвело на вершину могущества, и он пятнадцать лет показывал нам, каковы истинные размеры царственных марионеток.

Вскоре после сдачи Парижа к нам прибыл Бернадотт¹⁰⁴, который в оправдание того, что он обнажал оружие против своих прежних соотечественников, говорил, будто его долг быть шведом, с тех пор как он стал наследником шведской короны,—аргумент, который многие имели бесстыдство одобрить. Выходит, что генералу Моро¹⁰⁵ недоставало лишь короны, чтобы смыть позор его смерти в лагере наших врагов. Совсем другое место занял бы Бернадотт в истории, если б он пренебрег своим троном и бросился на помощь родной земле. Да и не так уж близка была Швеция сердцу этого гасконца,—столь хорошо сохранившегося во льдах севера,—чтобы он не согласился стать снова французом. Но для этого ему нужен был трон Франции. С этим старым республиканцем нечего было и торговаться, если предметом торга не было целое королевство. А что до религии, то она в его глазах не стоила и булавочной головки.

Его высочество взял в свою свиту г-жу де Сталь и Бенжамена Констан¹⁰⁶. Я хочу поговорить об этом знаменитом публицисте, который выказал в своем поведении столько же противоречий и непостоянства, сколько на трибуне и в своих сочинениях, за немногими исключениями, проявлял таланта, мужества и настойчивости в деле защиты начал разумной свободы. К несчастью, пожалуй, его ораторская изворотливость была такова, что, стань для него трибуна доступней и будь печать хоть немного посвободней, он, я думаю, был бы в состоянии приспособиться к любому режиму. Но это был лишь порок его ума, любившего играть трудностями и добивавшегося аплодисментов, как триумфа для защищаемого им дела. Мне, пожалуй, даже кажется, что препятствия и ограничения, чинимые законом на пути мысли, были возбуждающим средством, необходимым для этого писателя, самого тонкого и остроумного из всех людей выдающегося ума, каких я когда-либо знавал. Ничей разговор не казался мне более изящным, живым, гибким и с

виду добродушным. Этот разговор, наталкиваясь на возражения собеседника, только выигрывал в блеске и силе. Я, бывало, не мог всласть наговориться с ним, и мы всегда были в добром согласии.

Непрестанная потребность в сильных ощущениях сделала из Констана игрока. Но интерес к политике легко побеждал эту наносную страсть. Однако он выше всего ставил славу писателя, и Французская академия, предпочтя ему Вьенне, глубоко задела его, что бы он там ни говорил мне, желая скрыть свое огорчение.

Невыгодная сторона славы, обретаемой на поприще умственной деятельности, — это ее ненадежность.

Будьте, пожалуй, хоть шести футов ростом, но вам все-таки надо служить в какой-нибудь роте гренадеров, чтобы вы должным образом оценили это преимущество. Так и Констан — после стольких писательских и ораторских успехов испытывал необходимость стать членом какого-нибудь прославленного общества, чтобы уверовать в свой литературный талант. Но если б ему довелось стать членом Академии, то он первый посмеялся бы над этим и им снова овладело бы чувство неуверенности, ибо редко какой человек так скоро разочаровывался в том, чего он более всего желал.

Я сам советовал ему стать в ряд соискателей вакантного кресла, заверяя его, что если я и не добиваюсь подобной почести, то потому только, что она уж очень не по характеру мне и не по вкусу. И я прибавлял, что, на мой взгляд, репутации, которые составляются в переходную эпоху, вовсе не стоят того, чтобы их приобретали ценою отказа даже от малейшей доли своей независимости; за исключением двух или трех, эти репутации должны будут совершенно исчезнуть вместе с нами, а может быть, и прежде нас. Я примирялся с этим, но он не мог, и если принять во внимание, какую силу чувствовал он в себе, то это понятно.

Ему не пришлось долго страдать от интриги, лишившей его признания, на которое у него, без сомнения, было право. Несколько дней спустя он умер, истощенный трудом и бессонницей. Академия должна пожалеть, что это не ее член был почтен такими великолепными, состоявшимися при большом стечении народа похоронами: обычно похороны господ академиков гораздо скромнее.

Выше я сказал, что он приехал во Францию с Бернадоттом. Он не любил, когда я заговаривал с ним об этой поре. Ему больше нравилось говорить о той роли, которую он играл при Наполеоне во время Ста дней. Он признавался, что император имел на него большое влияние; говорил, что знания Наполеона были поразительны, а чего Наполеон не знал, то схватывал какою-то догадкой; что у него были и ум и необыкновенные дарования и что подлинно либеральных идей у Наполеона было больше, чем у любого члена его Совета. Оставя в стороне либерализм советников, я полагаю, что эта похвала властителю служила для Констана средством оправдать свою службу тому, кого он 20 марта называл тираном.

— А Бернадотт?, — часто напоминал я ему.

— Бернадотт теперь хлопочет о том, чтобы вымарать несколько страниц в “Записках со Святой Елены”¹⁰⁷. Если ему удастся эта проделка, я с похвалой отзовусь о Бернадотте.

Таков был ответ, который он дал мне однажды, когда, по поводу предстоявшего выхода в свет этих мемуаров, мы разговорились с ним о многих великих людях Империи. А потом в самом деле стали утверждать, что страницы, касающиеся маршала Бернадотта, князя Понте-Корво, были изъяты из драгоценной рукописи.

Я никогда не был знаком, да и не желал знакомиться с г-жой де Сталь. Хотя она обладала умом и талантом, но ее богатство и положение в свете немало способствовали росту ее заслуженной литературной славы. Наполеон не удостоил сделать из нее свою Эгерию¹⁰⁸. Падение великого человека было радостью для этого женского сердца. А в своих гостиних она не переставала похвастаться перед иностранцами тем, что было пагубой для нашей страны. Не знаю, поддерживала ли она те притязания, которые привели Бернадотта во Францию. Что же касается сего старого республиканца, то вот . происшествие, рассказанное мне человеком, у которого была возможность узнать об этом из самых верных источников, если только сам он не был его свидетелем.

В течение тех немногих дней, что Бернадотт провел инкогнито в Париже, он, прежде чем открыться императору Александру (в котором сначала было заметно колебание относительно Бурбонов), пожелал со всевозможным благоразумием сыграть роль претендента на французскую корону и потому счел необходимым позондировать . одного из министров самодержца. Сговорились дать обед графу Поццо ди Борго¹⁰⁹, другому перебежчику, этому Кориолану передних, которого один бесчестный литератор, не краснея, поставил рядом с Наполеоном. Карл-Иоганн, сгорая нетерпением приступить скорее к делу, спросил у русского министра, принято ли государями окончательное решение относительно Франции.

—По чести говоря, принц,—ответил ему хитрый корсиканец,—все в чрезвычайном затруднении. Думаю, что очень кстати пришлось бы советы вашего величества, ведь вы так хорошо знаете эту страну! Как, по-вашему, должны поступить державы? Кого дать во властители стране, которою так трудно управлять?

Гасконцу надобны были ответы, а не вопросы. Однако он спрашивает, свободен ли еще выбор, прибавив:

—Вы должны это знать.

—Да, можно сказать, свободен, несмотря на все настояния дома Бурбонов.

—Мне кажется, граф, эта семья здесь совершенно чужая. Что Франции особенно необходимо, так это государя французского, у которого не было бы никакого злопамятства по отношению к революции.

—Это уж вне всякого сомнения.

—Ей нужен человек, у которого были бы достаточные военные познания.

—И я так думаю, ваше величество.

—Человек, наделенный большими административными дарованиями и притом способный соблюсти интересы Европы.

—Вот именно, принц, вот именно! Продолжайте, пожалуйста.

—Человек, наконец, которого государи уже имели возможность оценить и чей характер может служить порукой умеренности и добросовестности.

—Итак, принц, все, что я имел честь выслушать от вас, я осмелюсь высказать им на словах и изложить на бумаге. Я сделаю больше: я дерзну указать им на того, кто, по-моему, способен был бы взять на себя заботы о судьбах нашего прежнего общего отечества.

Говоря так, Поццо, казалось, остановил свой почтительный взгляд на Бернадотте, который с худо скрываемой радостью сказал, улыбаясь:

—Не будет ли нескромностью спросить вас, на кого падет выбор столь умудренного опытом человека.

—Держу пари, ваше величество, что вы уже отгадали.

—Но я могу ошибиться, граф. Ради бога, назовите мне того, кто заслужил ваше предпочтение.

—Если вы этого требуете, принц, то это я... Ну да, это я; да, я—француз, военный, администратор, которому известны интересы Европы и кто друг почти всех государей. А ведь это именно те условия, которых требует ваше величество?

Бернадотт, в ярости от подобной мистификации, встал из-за стола и, будучи уверен, что русский придворный не посмел бы так поступить, не имея он на это соизволения самого царя, уехал из Парижа. В этот же день граф Артуа вступил в столицу—посреди вражеского артиллерийского обоза, с плохоньким штабом и под прикрытием острот, которыми его снабдили г-н Беньо¹¹⁰ и несколько других роялистов из числа новообращенных.

Передавая это происшествие, быть может, немножко приукрашенное тем остроумным человеком, который мне о нем рассказал, но сущность коего, думаю, верна, я поневоле вспоминаю о г-не де Верной, этом предполагаемом отпрыске Людовика XIII, о котором говорил выше. Забавно было бы видеть, если бы и он предъявил свои права в 1814 году и даже стал бы выказывать себя ревнителем спасения Франции. По правде говоря, если бы запросить мнение народа, то после Наполеона и его сына наибольшее число голосов получил бы потомок Железной Маски.

Изумительное возвращение императора 20 марта 1815 года было событием совершенно народным. Однако в этот день ожидания¹¹¹ можно было прочесть на челе всякого способного к размышлению человека,—а такие люди бывают во всех классах общества,—какую-то озабоченность, которая мешала радости быть всеобщей, несмотря на околдовывающую силу этого последнего чуда великого человека.

Хотя в эту пору я уже посещал иногда некоторых из главных действующих лиц нашей великой драмы, мне не о чем было бы рассказывать здесь еще, кроме нескольких второстепенных подлостей, если б не прекрасная память моего почтенного друга Дюпона (де л'Ёр)¹¹², который доблестно боролся с требованиями, обольщениями и даже, с самой необходимостью принять на себя власть и отправлять ее функции. Он передал мне разговор между депутатом Дюрбашем¹¹³ и великим изменником 1815 года, пресловутым Фуше¹¹⁴. Но, приводя его здесь, я боюсь, что не сохраню колорита страстного негодования, которое, передавая об этом разговоре, испытывал великодушный патриот.

После битвы при Ватерлоо Фуше, председатель временного правительства, держал нити отдаленных интриг, которым он отдался целиком в период Ста дней, когда возглавил доверенное ему Наполеоном министерство. Снова отворить Бурбонам ворота столицы, казалось, было его единственным намерением. И для его выполнения этому смелому человеку ничего не стоило вести переписку с Талейраном, Меттернихом, Веллингтоном и даже с самим Людовиком XVIII, рассылать по деревням своих эмиссаров, расточать деньги для подкупов, запугивать малодушных и заключать сделки с изменниками.

Расскажу об одном из средств, к которым он прибегал,—оно сильно смахивает на комедию.

Депутация пэров, отправленная в неприятельский лагерь для переговоров, потребовала, чтобы к ней присоединили Манкюэля, сделавшегося самым влиятельным членом палаты представителей и знакомого с Фуше по их сношениям в Эксе. Фуше, страшая патриотизма этого трибуна, воспользовался тем, что пэры не знали Манкюэля в лицо, и отправил вместо него, но под его именем одного из своих секретарей—Фабри, тоже члена

второй палаты. Я сам был свидетелем того, как несколько лет спустя граф де Баланс, один из одураченных пэров, приехав к Манюэлю, чтобы посоветоваться с ним как с адвокатом, изумился, увидав совсем не того человека, с которым, как он думал, некогда провел несколько часов в политических переговорах. Я был знаком с графом и помог Манюэлю распутать эту старую проделку нантского Скапена¹¹⁵. “Ах, господин Манюэль,—сказал генерал,—я теперь не удивляюсь молчанию, которое хранил тот, кого я принимал за вас, когда я настаивал перед генералитетом союзников, чтобы Бурбоны приняли трехцветное знамя!”¹¹⁶

Господин де Витроль¹¹⁷, отважный роялист, вступивший в связь с Фуше, чуть ли не открыто принял меры для того, чтобы слухи об этом происшествии дошли до генерала Солиньяка¹¹⁸, депутата. А тот чуть свет бросился к депутатам Дюрбашу и Дюпону, одному из вице-председателей палаты. Все трое поспешили к герцогу Отрантскому. Они застали его не одетым,” чем еще более увеличивалось неприятное впечатление, производимое его отталкивающей внешностью. Выслушав упреки этих господ и настойчивые вопросы Дюпона, Фуше начинает свои лживые объяснения. А затем, видя, что никого не убеждает, он осмеливается напомнить о своих революционных званиях, будто бы доказывающих его ненависть к Бурбонам. Звания эти, к несчастью, снискали ему доверие со стороны многих граждан и, между прочим, Манюэля, честная душа которого не могла постигнуть того, что при политических переворотах те, которым есть что искупать, первые бывают доступны подкупу.

Утомленный наконец разглагольствованиями Фуше, Дюрбаш в пылу негодования встает, когда Фуше еще и еще раз повторяет: “Разве вы забыли, кто я?”

Дюрбаш отвечает ему:

—Нет, мы этого не забыли, и воспоминания толпой приходят ко мне. В самом деле, кто же такой этот монсиньор герцог Отрантский? Разве это не тот бывший член конгрегации Оратории и не тот председатель народных собраний, который, в то время как возгласы возмущения прерывали речь одного рабочего, требовавшего уничтожения культа высшего существа, воскликнул: “Не перебивайте этого молодого философа”? Разве это не тот Фуше, который вместе с Колло д’Эрбуа¹¹⁹ купался в крови расстрелянных картечью лионцев? Не Фуше, подавший голос за смерть Людовика Капета; не тот Фуше, речь коего дышала при этом всей силой железной логики, хотя потом он и объяснял ее внушенным ему страхом? Или это не тот Фуше, который поочередно служил и изменял жирондистам, Дантону, монтаньярам и Робеспьеру? Вы совершенно правы, господин герцог, между Фуше и Бурбонами немыслимо примирение. Изменив императору, который обогатил вас и дал вам возможность пользоваться вашим богатством, даже когда вы впали у него в немилость, вы не посмеете изменить Франции! Вы не посмеете, единомышленник попа Талейрана, сдать Париж принцам, которые никогда не перестанут видеть в вас одного из палачей их брата! Даже если бы они и забыли это на минуту, дочь Людовика XVI¹²⁰ на коленях с плачем напомнит им об этом. И чем дороже они заплатят вам за возвращение на трон всякими милостями и высокими должностями, тем страшнее: они вскоре заставят вас искупить их собственную слабость. Берегитесь же, как бы, несмотря на вашу дружбу с Веллингтоном, не пришлось вам потом позавидовать участи Карно, над доблестями которого вы так смеялись. Пусть его изгоняют, он может быть уверен, что повсюду встретит сочувствие великодушных сердец. Но подумайте, господин герцог, когда будет изгнан Фуше, продавший императора, нацию и ее представителей, когда этот Фуше будет вне Франции, то где же он сможет показаться, не напомнив каждому того, что сам Робеспьер называл его кровавым извергом? И разве, увидев его, не вспомнят слов

Наполеона: “Вот человек, который всюду запускать свои грязные лапы”. Умереть в изгнании и умереть в позоре, герцог, это страшнее мучительной пытки. Предайте нас, и вы испытаете и то и другое.

Фуше, бледный от сдерживаемого гнева, хотел было скорчить презрительную мину, но мог пробормотать только несколько ничего не значащих слов, которые он закончил чем-то вроде сентенции, усвоенной впоследствии его наемными хвалителями и послужившей им для смягчения его преступлений:

— Я никогда не изменял ни своим друзьям, ни своим убеждениям.

Как будто подобный человек мог иметь каких-нибудь друзей и какие-нибудь убеждения!

Увидев бесполезность предпринятого ими шага, трое депутатов вышли, охваченные негодованием. Спустя два дня иностранцы овладели Парижем, Людовик XVIII вступил в него, а Фуше стал его министром. Тем не менее предсказание Дюрбаша исполнилось, и память о словах этого депутата, должно быть, преследовала Фуше: даже гроб Фуше был обречен изгнанию¹²¹.

Это второе появление короля отличалось от первого: оно было гораздо печальнее и для него и для приверженцев. Запершись в своей карете, король, казалось, протестовал против парадирования иностранных войск, которыми на этот раз он был окружен и охраняем со всех сторон. Приехав в Тюильри, чтобы снова получить свою корону, он мог видеть у Королевского моста прусские пушки, наведенные прямо на его дворец; эта угроза не прекращалась целый месяц. Блюхер¹²² хотел было показать ему зрелище разрушения Иенского моста. А в самом Лувре друг его Веллингтон, которого он наименовал маршалом Франции, приказал ограбить музей и вывезти картины и статуи, не обращая никакого внимания на трактаты, обеспечивавшие нам владение ими.

Говоря однажды о разграблении этого музея, без сомнения богатейшего в мире, я спросил г-на Англэ, гентского эмигранта, с недавних пор ставшего префектом полиции, отчего тогда не прибегли к помощи жителей предместий, которые с величайшей готовностью бросились бы защищать национальное достояние. “От этого воздержались бы,— ответил он,— ведь музей находится слишком близко от дворца”. Вот и верьте после этого всему, что говорят роялисты о любви народа к Бурбонам!

Но кому адресовали иностранные генералы свои оскорбления? Наполеона уже более не преследовали. Кем они были недовольны? Говорят, что Блюхер, Гнейзенау, Бюлов¹²³ и многие члены тайных немецких обществ, ненавидя Бурбонов, предложили генералу Мэзону¹²⁴ свергнуть их, а потом напасть соединенными силами пруссаков и французов на англичан. Блюхер никак не мог простить им того, что они приписывали себе славу победы в битве при Ватерлоо, где англичане потерпели бы поражение, если б не неожиданная помощь прусского корпуса, ускользнувшего от маршала Груши¹²⁵. Как бы то ни было, но справедливо, что пруссаки делали предложения Мэзону, возвратившемуся из Гента очень недовольным теми, ради кого он туда отправился. Трудно сказать с уверенностью, как и о чем шли эти переговоры. Достоверно только то, что прусский король уже не был повелителем своей армии. И только с прибытием Александра, который заставил немножко подождать себя, прекратились неприязненные действия Блюхера. Но и русский самодержец, казалось, несколько охладил к восстановлению на троне династии, после того как ему стал известен проект союза между Францией, Австрией и Англией, затеянного в 1814 году Талейраном.

Недостаток благоволения со стороны Александра и оскорбительное поведение пруссаков не отбили у Людовика XVIII охоты поцарствовать в другой раз. Он простил всем тем, кому не был в силах отомстить. Легитимисты, которым мало было заботы до наших

ужасных бедствий, плясали под его окнами. Они распевали песни, выражавшие их любовь к потомку Генриха IV, и прерывали их время от времени криками ненависти против тех, кто, слыша, как Людовик клялся, что умрет на ступеньках своего трона, не мог удержаться от смеха, узнав о его бегстве в ночь на 20 марта. Эти крики были сигналом длительной и кровавой реакции, почти все мерзости которой Людовик XVIII возложил на своих приверженцев и даже на членов своего дома,—реакции, честь прекращения которой он хотел приписать одному себе и которую прекратил только тогда, когда увидел, что с увеличением числа ее жертв растет и опасность.

У этого человека было лукавое и злое сердце. Один только он из всех Бурбонов, которых мы знали, заслужил подобное обвинение. Карл X, несмотря на некоторые закоренелые предрассудки, политические и религиозные, которые погубили его и могли стать пагубными для нас, оставил по себе во Франции славу человека обходительного и доброго, достойного иметь друзей; да и в самом деле многие были к нему искренне привязаны. Но у брата его¹²⁶ были только одни фавориты.

У него не было сердечной привязанности к членам своего дома, и ему приписывали протесты против законности происхождения детей Марии-Антуанетты. Я помню, что в юности моей видел в руках самых горячих роялистов копию с завещания этой несчастной государыни, где она говорила своим детям: “Не доверяйтесь вашим дядям”. Этой фразы,—вероятно, все помнят это,—не было в списке завещания, обнародованном в 1816 году. И кто знает, каким еще искажениям подвергнут был оригинал, замененный факсимиле после того, как были отобраны бумаги у Куртуа¹²⁷, изгнанного в 1815 году? Человек, выдавший секрет тайника, в котором были спрятаны бумаги, говорят, был щедро вознагражден.

Уверяют, что, хотя Людовик XVIII открыто называл герцогиню Ангулемскую своей Антигоной¹²⁸, между дядей и племянницей не было никакой привязанности. И я часто думал, что именно этот недостаток влияния и мешал герцогине оказывать помощь политическим жертвам, прибегавшим к ее заступничеству. Это было еще одно несчастье, о котором нам приходится пожалеть.

Оттенок оппозиционности, который придавала мне песня “Король Ивето”, написанная перед падением Империи, наводил на мысль, что я готов перейти на сторону легитимистов. И вот мне делают предложения и обещают награды, еще перед прибытием Бурбонов, если я воспою их в своих песнях. “Пусть они дадут нам свободу взамен славы, пусть они сделают Францию счастливою, и я буду воспевать их даром”,—ответил я тем, кому было поручено набирать для них приверженцев.

Любой новый сторонник годился им: пусть не думают, что я хвастаюсь. По этому случаю я припоминаю, что несколько лет спустя, когда я шутливо укорял мадемуазель Бургуан¹²⁹ в роялизме, который она выказала в 1815 году, эта остроумная актриса отвечала мне тоном, который так хорошо известен всем, кто ее знал:

—Я жила тогда с роялистом, а женщины, подобные мне, всегда бывают одного мнения со своим любовником. Людовик XVIII хотел меня видеть, чтобы поблагодарить за мою преданность и храбрость: ну, это мне и вскружило голову. А на самом деле я вовсе не так виновна. Но какая цена этим Бурбонам, которые так дорожат мнением бестолковой девки вроде меня!

Грубость этих слов только усиливает их меткость.

В январе 1816 года Арно, будучи изгнан, покинул Францию, и мы проводили его до Бурже, который был тогда, так сказать, границей королевства, потому что остальная часть с той стороны была занята иностранными войсками. Вечером в гостинице, когда мы

сидели за столом с молодым офицером, охранявшим эту границу и оплакивавшим несчастья своего отечества, я пропел бедному изгнаннику песнь “Птицы” — это грустное “прощай”, сопровождавшееся еще более грустным расставанием. Песенка эта едва не лишила меня той скромной должности, которой я был обязан Арно. Что же касается его собственной должности, то она была отдана г-ну Петито¹³⁰, литератору, сделавшемуся ханжой и легитимистом, что не мешало ему, однако же, выказывать мне свое благоволение и предлагать даже извлечь выгоды из гонений, которым подвергался мой отец; он советовал мне воспользоваться моими прежними сношениями с г-ном де Бурмоном, который, к своему несчастью, достиг высокого положения после битвы при Ватерлоо. Хотя я хорошо знал, что этот генерал предпринял розыски, стараясь узнать, что случилось со мною и с моим отцом, я был далек от желания извлечь выгоды из тех убеждений, которых не разделял. Между тем Петито не переставал принимать во мне участие и защищать против наветов людей, которым я покровительствовал и которых защищал во время возвращения императора. Я начинал все яснее видеть многие мерзости. Но мне суждено было увидеть их в еще большем количестве, и они стали еще значительнее. Альцест¹³¹ приходил в негодование от безделицы.

* * *

В конце 1815 года я осмелился издать первый том моих песен. Я уже достиг возраста, когда начинают предчувствовать неудобства литературной карьеры. Одна только нужда в деньгах могла побудить меня решиться войти в прямое соприкосновение с публикой, тем более что я только смутно отдавал себе отчет в пользе моих стихов для того дела, которое предпринял. Том этот был хорошо встречен не подорвал окончательно моего непрочного положения в университете. “Автору “Короля Ивето” многое можно простить”, — сказал, как меня уверяли, Людовик XVIII, который, следуя традиции старого режима, любил песенки и умер, говоря, с книжкой моих песен на своем ночном столике.

По поводу этой книги, изданной в то время, когда я служил, ограничусь замечанием, что в ней содержится множество куплетов, несколько напоминающих цинические вольности нашей старой литературы. Вот почему я и не считаю их заслуживающими строгого приговора. Когда мне растолковали, что наши старые авторы школы Рабле вовсе не заслуживают подражания, даже в песнях, — было уже слишком поздно уничтожать те песенки, которые, как я уже сказал, способствовали распространению моей известности: они принадлежали публике. Выбрасывать их при новых изданиях было бесполезно, издатели не хотели об этом и слышать. Да и сам я пожалел бы некоторые из них. Но стоит ли моему веку быть взыскательным к этим произведениям, сама веселость которых служит им если не противоядием, то извинением, — ведь в наше время роман и драматические произведения дошли до бесстыдства в изображении самых низменных страстей. А высокая поэзия, разве она свободна от ошибок в этом роде?

Пусть же те, кто готов настаивать на упреках, сделанных мне многими, обратятся к сочинениям Гёте¹³²: они увидят, что этот великий гений был снисходительнее, чем они, к песенкам моей юности.

И еще одно замечание: песни, взятые с этой стороны под подозрение, написаны во времена Империи. Замечательно, что подобные произведения роятся обыкновенно в эпоху деспотизма. Ум наш испытывает такую потребность в свободе, что когда он ее лишен, то прорывается через границы, наименее защищаемые, рискуя залететь чересчур далеко в своей независимости. Ловкие правительства попустительствуют этим наклонностям: в Венеции правительство покровительствовало куртизанкам.

Но это не извинения,—я лишь объясняю, как было дело. Само собой разумеется, что я говорю здесь только о песнях, изданных мною, а не о всех тех, которые напечатаны под моим именем в бельгийских и французских контрафакциях¹³³.

Есть еще одно обстоятельство, которое должно бы снискать мне отпущение былых грехов. Но я боюсь, чтобы оно не обратилось против меня. Во всяком случае, рискнем указать на него. Предки наши, даже серьезные люди, развлекались песней, но они мало ценили ее. Придавая ей такое значение, какого она до тех пор не имела, я, вероятно, предоставляю право критикам нашей целомудренной эпохи быть к ней еще строже. Знал ли я, какая судьба ждет мои томики, в которых похоронил я без разбору и веселые вспышки моей юности и политические рефрены моих зрелых лет? “Возвысив этот жанр, вы его испортили”,—ответят мне наши Аристархи¹³⁴. Я вижу, господа, что мне нужно было ограничиться одними веселыми куплетами, чтобы не угодить в список запрещенных книг. Да вот беда: я уже не в том возрасте, чтобы брать уроки.

Но в пору, когда мои песни заставили меня играть какую-то личную роль в политике, я почувствовал необходимость отучить мою музу от ее слишком вольных манер.

Появление первого тома сделало меня окончательно песенником оппозиции. Публика уже давно могла удостовериться в искренности и бескорыстности моих убеждений. Во время Ста дней мне предлагали место газетного цензора (в “Общей газете”, превратившейся потом во “Французского курьера”), но я отказался от него, несмотря на все уговоры. Место это давало шесть тысяч франков,—а это значило отвергать избыток, когда я испытывал потребность в самом необходимом. Мне пришлось в то время довольствоваться для покрытия всех нужд одним только моим скромным жалованьем, потому что я предоставил академический оклад г-ну Блешану, отцу г-жи Люсьен Бонапарт, впавшему в нужду после изгнания своего зятя. Арно и Реньо де Сен-Жан д’Анжели позаботились в свое время устроить та-к, что я один только имел право получать эти деньги. И в самом деле, я получал их до 1814 года, когда г-н Люсьен королевским указом был исключен из Академии. Но уже задолго до этого мне показалось более справедливым отдавать всю сумму отцу принцессы, в чем я и получил от него расписки.

Начало моей дружбы с Манюэлем относится к 1815 году. Он был очень сдержан, а я все еще отличался большой застенчивостью. Но это не помешало нам при первой же встрече почувствовать расположение к взаимной дружбе, которая и установилась между нами спустя недолгое время и разорвать которую могла одна смерть.

Он часто бывал в доме Лафитта и однажды повел туда и меня. Я всегда недолюбливал финансовых дельцов, их раззолоченные салоны и шумное общество. “Там нечего искать дружбы”,—говорил я Манюэлю. Но он проводил в их среде большую часть своего времени. Я пошел с ним и остался очень доволен. Политическое положение Лафитта заставляло меня отвергать его горячие и настойчивые предложения. Тем не менее я очень обязан ему за те услуги, которые он оказывал многим из ближайших моих друзей и великому числу бедняков, обращавшихся к нему по моей рекомендации. Я счастлив, что и сам мог быть полезен в важных обстоятельствах этому великому гражданину, честному, умному, доброму и великодушному, живой ум которого, к сожалению, был таков, что не позволял ему разбираться в людях, что и сделало его жертвою многих из тех, кому он щедро благодетельствовал. Но напрасно нагромождали на него всевозможную клевету в годы его столь беспокойной старости. Чутье народа обмануть трудно; Лафитт был поощрительным и благородным примером для тех, кто, подобно ему, захотел бы целиком посвятить себя служению отечеству.

Он сделал ошибку, в которой я не раз упрекал его; это была покупка скучного замка Мезон, самого тоскливого из всех известных мне жилищ; оно казалось мне чуть-чуть сносным только тогда, когда там бывали со мной Манюэль¹³⁵, Тьер и Минье. Оставаясь же в этом замке один, я уходил, с тем чтобы, пройдя лесом, пообедать в ресторане Сен-Жермен. Мне не забыть и того, что в этом царственном жилище, где еще до сих пор показывают комнату, в которой долго жил Вольтер, я не был в состоянии написать ни одного куплета. Я не рожден для замков; может быть, от этого я несправедлив к Мансару¹³⁶, которого, любя мансарды, я должен был бы очень любить.

Очутившись в обществе богачей, я нисколько не стеснялся своей бедности, и мне ничего не стоило сказать: “я беден”. Это слово, которое многим так тяжело произнести, едва ли не заменяет богатство; оно позволяет во всем экономить и привлекает к вам интерес многих женщин, а значит — и салонов, на которые в этом отношении очень клеветали. Но не поступайте так, чтобы бедность ваша стесняла других. Умейте посмеяться над нею кстати, и вам будут сочувствовать, не оскорбляя вашей гордости. То, что я говорю сейчас, я не раз повторял многим молодым людям, которые, прельстившись аристократической роскошью, краснеют оттого, что лишены ее. Если они хотят сохранить в чистоте свою честь и независимость, пусть они выучатся говорить: “я беден”.

Эту роль Аристофана, которая мне так нравилась в двадцать лет, — без гения афинского поэта и, кажется, без его язвительности, — я играл не на театре, где она, должно быть, уже невозможна, но во всех слоях французского общества. Довольно было мне дать кому-нибудь или позволить списать мои новые куплеты, как они в скором времени облетали всю Францию, попадая даже за границу, чтобы утешить там наших бедных изгнанников¹³⁷, которые были рассеяны тогда по лицу всей земли. Я, быть может, единственный из писателей нового времени, кто мог бы достигнуть известности, не прибегая к печатному станку.

Чему же я обязан этим преимуществом?

Старинным мелодиям, на которые я, если можно так выразиться, сажал верхом свои идеи, и еще — счастливой мысли не пренебрегать обработкою низшего жанра, не открывавшего дороги к литературным почестям. Из всех современных мне литераторов никто, я уверен, не захотел бы идти по избранной мною дороге. Я взял только то, что другие браковали. Я был уже в том возрасте, когда не ослепляются успехами. Чтобы заслужить те, которые я снискал, я должен был обратить их на пользу тому жанру, которому вскоре принес в жертву все другие мои начинания.

В “Погребке”, этой академии песен, существовало правило, что песня должна блистать только остроумием и весельем; но ведь этого очень мало. Так или иначе, но я от рождения поэт и человек стиля. Сначала я не замечал, что все, сколько во мне было поэтического, может найти применение в этом жанре, гораздо чаще употребляемом на практике, чем изучаемом. Наконец размышление показало мне все выгоды, какие можно извлечь из этого жанра. Песня открывала передо мной тропинку, по которой я мог идти куда мне вздумается. Тут я ускользал от академических требований и получал в свое распоряжение весь словарь родного языка, на четыре пятых, по мнению Лагарпа, запрещенный для нашей поэзии¹³⁸.

Я не скрывал от себя и того, что постоянство принципов не исключало во мне большой подвижности впечатлений. А эта подвижность могла оказаться препятствием к доведению до конца всякого пространного произведения, отличающегося известным единством тона. Писатель должен изучать человека на себе самом, но это никак ему не удастся, если он начнет писать слишком рано. С тех пор как я отчетливо понял, какова

природа моих способностей и какую литературную независимость сулит мне песня, я принял окончательное решение. Я сочетался браком с этой бедной, но веселой девушкой, собираясь сделать ее достойной приема в салонах нашей аристократии, но не заставляя ее отказываться от старых знакомств, ибо она была дочерью народа, от которого и ждала своего приданого. И я был вознагражден гораздо больше, нежели того заслуживали мои произведения, хотя они и обладали той особенностью, что благодаря им в продолжение лет двадцати поэзия вторгалась в политические дебаты.

Партия легитимистов, всегда с крайним благоволением судившая обо мне как о писателе¹³⁹, обвиняла меня в том, что я более всякого другого писателя содействовал свержению династии, навязанной нам иностранцами. Я принимаю это обвинение, ибо оно—честь для меня, оно—слава для песни. Никто не знает, сколько препятствий мне нужно было преодолеть, прежде нежели я доставил ей эту славу. Сколько раз принужден я был бороться с вождями либеральной партии—людьми, которые хотели меня взять под свою опеку, чтобы заставить действовать в духе их робких комбинаций!

Многие из них оставляли меня в самую трудную минуту борьбы: они возвращались ко мне только тогда, когда видели, что толпа продолжала мне рукоплескать. Мне не нужно было Июльской Революции, чтобы судить, какова действительная политическая сила великих людей, которых мы сами себе создали. Мы часто вздыхали по этому с Манюэлем; он не раз вынужден был защищать меня от анафем, над которыми я смеялся, когда они касались меня одного, лишая иногда покровительства прессы. Люди бескорыстные, причастные к политическому движению, нуждаются в вере в народ,—вера эта никогда меня не покидала.

Успехи, которыми я был обязан песне, позволили мне оценить, каким счастьем была для меня неудача моих других попыток. Если бы мои ранние опыты заслужили похвалы публики, то весьма вероятно, что я, как и многие молодые люди, стремящиеся к цели выше своих сил, пренебрег бы низшим жанром, благодаря которому мои современники почтили меня своими одобрениями. По моему мнению, одна только польза освещает искусство. Конечно, мне было жаль, что столько проектов и планов оказались мертворожденными. Без сомнения, высокие притязания моей юности способствовали тому, чтобы я не строил себе иллюзий относительно значения моих, литературных успехов. Но тем не менее справедливо и то, что, побуждаемый всем своим существом посвятить свои дарования, каковы бы они ни были, служению родине, я исполнил свое смиренное назначение.

Должно, однако, признаться, что лет в сорок странная мысль пришла мне в голову. Трагедия никогда не привлекала меня: это был единственный жанр, еще не испытанный мной. Разговоры мои с Тальма¹⁴⁰, с которым я всегда встречался с большим удовольствием, навели меня на мысль попытать свои силы в трагедии. Я проповедовал перед ним необходимость изучения греческих трагиков, логически столь же правдивых, а поэтически гораздо более правдивых, чем испанские, английские и немецкие драматурги, не говоря уже о том, что по непосредственности понимания искусства они превосходят даже Корнеля и Расина. Заметим, однако, что эти последние создали то, что я назову театром резюмирующим, самым трудным из всех, таким, где почти вся поэзия заключается в композиции. Вот этим-то и объясняются слова Расина: "Пьеса моя готова, мне остается только написать стихи".

И в самом деле, в пяти довольно коротких актах они резюмируют, во славу совести и чувства, всю жизнь, всю страсть, весь характер, а также и те вымышленные или действительные происшествия, к которым они приурочивают действие. Это наиболее

высокая поэзия, какая только возможна на театре. И странно, что ее никогда не признавали ни в Корнеле, ни в Расине, тогда как никто не отвергал ее в Мольере, который, правда, достиг большего совершенства, нежели оба его современника. Пьеса-хроника, где сцены наивно следуют одна за другою по прихоти какого-либо предания, легендарно-исторического или же романтического,—это детство искусства, и даже весь гений Шекспира не помешает мне вывести подобное заключение. Шиллер там же искал свой образец, но, с драматургической точки зрения, я сомневаюсь, чтобы это много способствовало его славе. Итак, вдумчиво отнесясь к критике, обращенной против тусклых подражателей наших великих мастеров, я принялся составлять планы и менее чем в год набросал их несколько. Я старался связать в них не бурлескное с героическим—соединение варварское, которое и сам Шекспир нынче отверг бы,—но простое и обыкновенное с героическим. Именно обыденно простого и недостает нашим великим трагикам, притом Корнелю меньше, чем Расину, и это потому, что они писали, почти всегда имея в виду аристократию и двор. Единства времени и места отталкивали меня всегда менее, чем однообразие тона.

Вот я и хотел испытать, нельзя ли освободиться от этого однообразия в пользу естественности и ради усиления драматических, эффектов. “Граф Юлиан”¹⁴¹, “Смерть Александра Великого”, эпизод из “Гражданских войн” в Италии, “Карл VI”, “Спартак”, задуманные по этой системе и без малейшего сходства с пьесами, когда-либо сочиненными на эти сюжеты, убедили меня в том, что и в этом высоком жанре можно проложить новые пути. Опираясь на авторитет Корнеля, вводившего в свои пьесы и Никомеда, и Прузия, и даже Феликса¹⁴² (каковы бы ни были на этот счет приговоры педантической Академии и подчас нелепые замечания Вольтера), я написал несколько сцен стихами, для того чтобы убедить себя в благих свойствах придуманного мною приема. Но вскоре я оставил эти опыты, как оставлял много других, что не помешало им быть для меня полезной и интересной школой. И кто знает? Может быть, от этого кое в чем выиграла и песня.

На том пути, по которому я шел, мне были необходимы советы. И я получал их более даже, чем спрашивал, и вот почему: многие, отправляясь советоваться, ждут не свободно высказанных мнений, а похвал; я же старался, когда меня просили петь, запомнить малейшие слова, малейшие жесты моих слушателей, чтобы знать, какие места требовали изменений, поправок или даже полной переделки. Я избирал себе, кроме того, несколько цензоров, и всегда из числа друзей помоложе меня, рассчитывая, что именно от них мне будет всего больше проку. Во времена моих дебютов Анри де Латуш¹⁴³ сделал очень много справедливых замечаний, принесших мне большую пользу. И я все вновь и вновь обращался к этому истинному поэту, великому мастеру на пастиши¹⁴⁴. Я часто называл его создателем Андре Шенье, добрая половина сочинений которого принадлежала перу Латуша. Ведь я сам слышал от Мари-Жозефа сожаления, что брат его так мало оставил в бумагах своих такого, что можно было бы напечатать. Странно, что стихи, помещенные в конце тома и прерванные будто бы приходом тюремщика, не открыли глаза хладнокровным судьям. Все, однако, теперь знают, что эти стихи принадлежат Латушу¹⁴⁵.

Достигнув старости, я прибегал к советам человека, которого видел совсем ребенком, а именно—Мериме. Будучи одним из наиболее выдающихся умов нашего времени, он соединяет с этим умом обширное, основательное образование и суровую любовь к языку. Он заставил меня провести не одну бессонную ночь за исправлением неудачных стишков. Вот доказательства дружбы, каких нельзя ждать от любого из своих друзей. Есть люди, которые находят прекрасным все, что бы ни сделали те, кого они любят. Таков немножко

и Лебрэн, человек весьма благожелательный; и потому я всегда не слишком-то доверял его похвалам, хотя они и трогали меня, вызывая искреннюю признательность.

Теперь мне остается сказать о моих изданиях.

Меня предупредили в канцелярии народного просвещения, что если я напечатаю новые тома, то это будет равносильно моей отставке. Г-н Петито в учтивой форме высказал мне это, предупреждая, что меня выставят вон при выходе в свет моего второго тома, и одновременно предлагая мне своего рода премию за послушание.

Тем не менее я напечатал порядочное число моих песен в “Минерве”, газете, имевшей огромный круг читателей. Владельцы ее, мои друзья, хотели уделить мне часть своих доходов. Я отказался, находя смешным заставлять друзей своих оплачивать куплеты, сочинять которые доставляло мне столько удовольствия. Но я не рассуждал так по поводу песен, собранных в томе, потому что публика вольна была покупать их или нет.

Мне понадобилось много времени, чтобы составить второй том, так как я сочинял не более пятнадцати—шестнадцати песен в год. Иные из них я писал в несколько часов, но большую часть—медленно и заботливо. И не каждый год был столь изобилён песнями. Я писал их, только уступая капризу; иногда проходило восемь или десять месяцев, не дававших мне ни одного стиха, даже когда я работал с наибольшим усердием. Теперь, когда дерево старо, плодов на нем все меньше и меньше. А что я буду делать, когда их вовсе не станет? Без сомнения, я умру.

Несмотря на слабый голос и музыкальное невежество, я пел тогда довольно часто. Будучи вынужден искать опоры в борьбе, которую я вел, я должен был часто бывать в обществе. Я приносил с собой свойственное мне увлечение и ту веселость, которая Я придает остроумию такую ценность, какую оно не всегда может позаимствовать у разума. Таким образом, я никогда не заставлял себя долго просить спеть какое-нибудь из моих неизданных произведений, находился ли я в обществе моих друзей по оппозиции, или среди приверженцев правительства. Господа Варант, Гизо, Симеон-отец, Мунье и многие другие могут сказать, что они слышали, как я за столом, рядом с префектом полиции господином Англе, пел им новинки: “Добрый бог”, “Миссионеры” и т. д. и т. д. Однажды этот префект получил сообщение о том, что я пропел у г-на Берара¹⁴⁶ (который был и его другом и моим) несколько своих анархических, как тогда выражались, песен. Префект немало смеялся над этим: он сам был на обеде. Из этого видно, что песня еще пользовалась тогда некоторыми привилегиями и что в те времена префекты полиции выказывали себя порой умными людьми.

Наконец в 1821 году я смог напечатать два тома как моих старых, так и новых песен. Я сказал уже, что это значило потерять скромную должность, позволявшую мне, не слишком обременяя себя трудом, жить среди друзей; несмотря на несколько язвительную откровенность, я, к счастью, всегда умел снискать привязанность тех, с кем жил. Но уж лучше было самому пожертвовать своим местом, чем дожидаться, пока его отымут у меня,—что могло случиться всякий день,—и только после этого опубликовывать свои мятежные песни. Издание их показалось бы тогда мстью, а это вовсе не шло к моему характеру. К тому же либеральная партия была в то время в ужасном расстройстве: ее иллюзии рассеялись¹⁴⁷, и главари оппозиции, казалось, были охвачены паникой. Таким образом, момент был выбран превосходно: появление моих томов, ожидаемых уже давно, и процесс, предчувствуемый всеми и долженствовавший, как я выразился тогда, позолотить их обрез,—все это могло бы хоть немножко оживить общественное мнение, которое иногда безделица прибьет и безделица подымет. Многие либералы, из очень богатых, которые за полгода до того толкали меня на эту демонстрацию, пожелали теперь

сорвать ее. Так как я издавал по подписке, то иные из них, подписавшиеся на огромное число экземпляров и побуждавшие меня печатать более десяти тысяч, объявляли мне в последнюю минуту, что я должен прекратить печатание или же вычеркнуть их имена из списка подписчиков. Но ничто меня не останавливало—напротив, я еще более убедился в необходимости этого выстрела передового часового, чтобы разбудить либеральный лагерь, столь странно управляемый теми, кто имел честь называться его самыми энергичными вождями. Манюэль разделял мое мнение, и благодаря моему другу Бернару и нескольким другим верным друзьям мои два тома т-12 были напечатаны, хотя и не без некоторых затруднений, у Фирмена Дидо и появились в октябре, в числе 10,500 экземпляров¹⁴⁸.

Издание состоялось на мой счет. Таким образом, я вынужден был возглавлять продажу; в этом деле очень полезен оказался мой старый друг Бежо. Я мог видеть, как час от часу продажа увеличивалась с быстротой, превосходившей все ожидания. Издержки печатания вынудили меня сделать долг в пятнадцать тысяч франков, а я ведь уже не смел рассчитывать на подписчиков. Какова же была моя радость, когда я увидел себя обладателем этой огромной и страшной суммы в пятнадцать тысяч, которую я никак не надеялся выручить за мои маленькие книжки.

В сравнении с этими пятнадцатью тысячами, суммы, поступившие сверх них, произвели на меня уже слабое впечатление. Однако я обязан им возможностью существовать без должности, потому что с тех пор моих скромных доходов почти всегда было достаточно не только для меня самого, но и для тех, с кем мне было столь приятно делить их. Правда, это маленькое состояние не всегда спасало меня от денежных затруднений, но у меня были,—я люблю повторять это,—превосходные друзья, которые, заботясь обо мне беспрестанно, не допускали меня впадать в тягостную нищету, куда меня не раз заводила щедрость. Богатство уже в том, когда у тебя мало потребностей и много друзей: я очень хорошо знаю это по личному опыту.

Судебные преследования, которым я подвергался, наделали в свое время так много шума, что достаточно, если я бегло коснусь их. Прокурор Маршанжи (литератор, пользовавшийся некоторой известностью,—ему предстояло еще сделать себе карьеру в Парижском суде, и он сделал ее ценою четырех голов сержантов Ларошели¹⁴⁹) в обвинительной речи развернул свой большой талант и проявил стремление наказать меня как можно более жестоко. Это стремление приводило его не раз к нелепостям. Цитируя “Доброго бога”, он воскликнул: “Разве так Платон говорил о божестве?” Этот возглас был тем более неуместен, что “добрый бог” моей песенки был идолом старых богомолок, а никак не олицетворял высший разум, перед которым я всегда благоговел, что могли бы доказать многие страницы инкриминируемых мне сочинений¹⁵⁰.

Подробности этого знаменитого в свое время судебного заседания сохранены печатью. Толпа была такой многочисленной и плотной, что судьи принуждены были влезать через окошко, а подсудимый рисковал не дойти до подножия судилища, хотя он беспрестанно повторял толпе, как тот мошенник, которого вели на виселицу: “Господа, без меня не смогут начать!”

Сохранилась прекрасная защитительная речь Дюпена, из которой видно, — какой признательностью обязан я моему прославленному адвокату,—он никогда не проявлял красноречия более колкого, выразительного и исполненного остроумия. Должен заметить только, что в интересах своего клиента мой защитник слишком преуменьшил значение песни. Авторское тщеславие и любовь к песенному жанру привели меня к заключению,, что обвинение гораздо больше содействовало моим целям, приписывая произведениям

моим ту литературную важность, которую Дюпен всячески старался скрыть. В таких затруднительных случаях гордость поэта может дойти до героизма: “Лучше пусть меня повесят враги, чем утопят друзья”,—говорил я. Как бы то ни было, моему адвокату удалось избавить меня от угрозы длительного тюремного заключения. Впрочем, лишь много позже у песенника признали качества поэта, и—странное дело!—англичане, кажется, первые дали мне этот титул в “Эдинбургском обозрении”.

Судья, имя которого, быть может, не без удивления встретят здесь, оказал мне большую помощь в этом первом процессе, стоившем мне трех месяцев тюрьмы и пятисот франков штрафа; это г-н Коттю¹⁵¹, ярый сторонник аристократических взглядов, а кроме того, честнейший, лучший и бескорыстнейший из всех роялистов. Он сделал так, что за “Старое знамя” меня не подвергли наказанию, ибо это был случай, не предусмотренный законом. Но вскоре новый закон о печати заткнул лазейку, благодаря которой самое большое из моих преступлений ускользнуло из когтей Маршанжи; заметьте, я не говорю: от судей,—потому что они были ко мне благосклонны; г-н Ларие, председатель, в своем резюме, наполненном лестными для меня похвалами, даже выразил досаду, что строгость обстановки трибунала не позволяет пропеть преследуемых сочинений, которым могло бы послужить извинением то, что ведь это песни. Но если они и не пелись, то во время совещания присяжных списано было множество копий куплетов, сочиненных мною в честь предстоящего осуждения¹⁵²,—их списывали даже на столах секретаря суда и прокурора.

Я превесело провел трехмесячное заключение в Сент-Пелажи, в камере, которую перед моим водворением только что покинул, после двухмесячного пребывания, другой крамольник, Поль Луи Курье¹⁵³; Реставрация преследовала его не так настойчиво, но конец его был ужасен¹⁵⁴ и достоин сожаления. Среди моих товарищей по заключению было много славных людей, приговоренных по политическим мотивам, в их числе мой друг Кошуа-Лемер¹⁵⁵, человек неоспоримых заслуг, но слишком скромный, выстрадавший так много в тюрьме и ссылке и так слабо вознагражденный Июльской революцией.

Я был бы человеком неблагодарным, если бы забыл сказать, что, помимо множества любопытствующих посетителей и людей, всегда готовых следовать примеру толпы, мне довелось принимать немало и таких, которые проявляли ко мне самый живой интерес, и притом совершенно патриотический. Этих свидетельств участия и того шума, который наделало мое осуждение, было вполне достаточно, чтобы показать мне, а может быть, и главарям оппозиции, ту меру влияния, какую могли оказывать мои песни.

Я знал людей, которых страшила тюрьма; меня же она вовсе не испугала. В Сент-Пелажи у меня была теплая, сухая меблированная комната,—тогда как на свободе я жил в каморке, без всякой мебели, страдая от мороза и оттепелей, без печки и камина; всю мою жизнь, до сорока с лишним лет, вода зимою была у меня затянута льдом, и я должен был закутываться в старое одеяло, если во время долгих ночей мне приходила охота нацарапать несколько строк. Разумеется, в Сент-Пелажи мне было гораздо лучше, и я не раз повторял: “Тюрьма избалует меня”. Тем же, кто удивлялся скудости моей городской квартиры, зная, что я получаю две тысячи франков жалованья, я отвечал моей излюбленной аксиомой: “Если ты не эгоист, будь бережлив”.

Во время моего заключения прокурорский надзор затеял против меня новое дело, возбужденное прокурором г-ном Белларом¹⁵⁶. Неблагодарный! Во время Ста дней я ходатайствовал перед г-ном Реньо де Сен-Жан д’Анжели, чтобы он разузнал, нет ли у императора враждебных намерений по отношению к г-ну Беллару, одному из самых

ревностных подстрекателей его низвержения в 1814 году. Реньо быстро навел справки и поручил мне сказать друзьям и родственникам г-на Беллара, что тот может оставаться в Париже, ничего не опасаясь. Правда, он не воспользовался этим позволением, но он не мог не знать, что я для негр сделал.

В новом процессе преобладал вопрос чисто юридический. Дело шло о сделанной Дюпеном, под моим именем и к моей пользе, публикации документов первого судопроизводства¹⁵⁷. Случай был новый, и люди, наиболее осведомленные, одобрили эту публикацию: она давала мне отныне возможность дополнять каждое новое издание моего изувеченного судом сборника обвинительными речами, где находились и все осужденные песни и куплеты. Прокурорский надзор почувствовал всю важность этого обстоятельства; и вот, приведенный на суд из тюрьмы, я снова сажусь на скамью подсудимых вместе с содержателем типографии Бодуэном, имея снова обвинителем Маршанжи и адвокатом Дюпена. Никогда клиент, защищаемый даром, не доставлял больших затруднений своему защитнику. Должен сказать, что Дюпен согласился защищать мое дело только на том условии, чтобы не было и помину о вознаграждении, — поступок благородный, который Барт¹⁵⁸ повторил на моем последнем процессе.

Можно ли считать рецидивом обнародование документов судопроизводства, оглашенных во время заседания суда? Таков был вопрос, вся несостоятельность которого становилась ясна, стоило только сказать, что заседание суда было публичное и любой присутствующий из публики имел право записывать сколько ему угодно весь ход судопроизводства и инкриминируемые произведения, как это и делает всегда “Судебная газета”. Но наши Бридуазоны¹⁵⁹ из прокурорского надзора не так понимали это дело, и Маршанжи не покраснел, поддерживая и на этот раз обвинение, выдвинутое против меня. Какова любовь к повышению по службе! Он был, однако, за это наказан, потому что талант изменил ему, и присяжные, правда только большинством, одного голоса; позволили восторжествовать могущественной логике и энергичным аргументам Дюпена, которого в этом деле поддерживал Бервилль¹⁶⁰ — адвокат типографщика. Достойный зять доброго Андриё, моего почтенного друга, произнес в своей речи такую похвалу мне, которая никогда не изгладится из моей памяти.

Если бы присяжные, у которых вскоре отняли дела печати, уступили настояниям Маршанжи, то я был бы осужден на двухлетнее заключение. И это случилось бы всего за два дня до моего освобождения из Сент-Пелажи. Оправдательный приговор обрадовал меня, особенно тем, что он означал поражение закона, направленного против печати, так как с тех пор публикация документов всех подобных процессов могла бесконечно увеличивать количество произведений, враждебных нашим противникам. Я и сам получил доказательство этого в 1828 году, во время моего последнего процесса: в самый день оглашения приговора в исправительной полиции все новые песни, подвергшиеся осуждению, были опубликованы в вечерних газетах, которые вовсе не были либеральными. Карл X был крайне удивлен и еще более того раздосадован, видя, что его собственные газеты содействуют такой популярности моих песен, какой не снискали им мои 10,500 экземпляров. Один из этих листков выступил с объяснением, что так как приговор суда 1822 года сделал перепечатание инкриминируемых песен неизбежным, то правительственные газеты всего только несколькими часами предупредили органы оппозиции. Роялистский листок не прибавил, однако, что денежные выгоды побудили его опередить их.

Сосчитано, что в результате этой перепечатки осужденных песен в парижских газетах, в провинциальных изданиях и за границей получило распространение за какие-нибудь две

недели несколько миллионов экземпляров песен, и как раз тех, которые хотели убить запрещением. Это был прекрасный урок для всех, кто хлопочет о стеснении свободы печати,—и все же при подобных обстоятельствах автор должен избегать тщеславия; но если дыхание, которое раздувало и уносило его хрупкий воздушный шар, и не есть дыхание славы,—все-таки это дыхание благородных и патриотических убеждений, и автор может гордиться этим.

В 1825 году я отдал третий том книгоиздателю Ладвока. Во главе правительства стоял тогда Виллель, и я рассчитывал, что у этого государственного мужа достанет ума и такта, чтобы не возбудить против меня нового процесса. Но поверят ли мне? Одновременно это связывало меня и заставляло быть менее враждебным. Полиция донимала типографщика и издателя, чтобы те добились от меня некоторых сокращений. В их интересах я уступил в том, что мне казалось маловажным, но, несмотря на долгие и многочисленные настояния, воспротивился изъятию обращенного к Манюэлю куплета, которым заканчиваются “Талльские рабы”. Что же сделал книготорговец Ладвока? Он напечатал тысячи четыре-пять экземпляров без этого куплета-посылки и без некоторых других мест, которые полиция, не доводя об этом до моего сведения, велела убрать, а остальную часть тиража оставил в таком виде, как требовал я. Узнав об этой проделке в тот самый день, когда Ладвока в честь выхода в свет этой книги давал большой обед, я отказался явиться на него, несмотря на все просьбы бедного издателя; но мне следовало бы простить ему то, что он сильнее, чем я, страшился тюремного заключения, которое могло разорить его торговый дом. Он не избежал процесса за выпуск экземпляров, не согласных с представленными образцами. Однако дело это велось без шума, а меня самого не потребовали к ответу, что доказывает, как верно оценил я главу совета министров¹⁶¹.

С 1825 по 1828 год, постоянно имея дело с политическими обществами и с их самыми знаменитыми вождями, я много раз мог выказать свою независимость и откровенность. Я видел, что нация была гораздо более развита, чем эти вожди, и что она опережала своих корифеев, которые считали себя ее высшим выражением, как обычно смотрит на себя и всякое политическое представительное собрание, хотя в действительности так бывает редко; это справедливо столько же и для настоящего времени, сколько было справедливо и тогда. Многие из этих господ благодарили меня за помощь, оказанную им мною. “Не благодарите меня за песни, которые я сложил против ваших противников,—отвечал я,—а благодарите за те, которые я не сложил против вас”. И знает бог, сколько между этими песнями было бы хороших и как часто я обдумывал их! За них, я полагаю, правительство легко простило бы мне все остальные.

Зная, таким образом, настоящую цену большей части наших трибунов, я жил и общался с ними только из чувства долга. Иначе я относился к молодежи, толпившейся вокруг меня. Я обязан ей многими прекрасными надеждами, и не все они были обмануты. Я видел, как вокруг меня рождались и вырастали прекрасные и благородные таланты, самоотверженные люди, устоявшие против всех разочарований. Я видел, как возникали и развивались философские и социальные идеи, которые со временем, очистившись от неизбежных ошибок, послужат к улучшению этого бедного мира, воображаемая цивилизация которого пока еще не больше как варварство.

Если молодые люди всегда стремились ко мне, то потому, что я умел их понять, ободрить, а иногда и наставить. Но я, не стесняясь, скажу, что сам больше научился у них, чем они у меня. Надежда, что нас похоронят люди, которые станут лучше, чем могли быть мы,—сладкое удовлетворение для всякого друга человечества. Эту уверенность я сохраняю до настоящей минуты, и если время от времени многое колеблет ее, то сколько же

возникает и такого, что укрепляет ее, когда она готова рассеяться!

Если бы у меня была возможность возвратиться в свой уголок петить и мечтать, я сделал бы это по смерти Манюэля, которого потерял 20 августа 1827 года. Жестокая болезнь, отравлявшая последние десять лет его жизни, прекратила его дни на пятьдесят третьем году. Писали, что неблагодарность народа сократила жизнь его, но это вовсе не так. Манюэль был не из тех людей, которые видят народ только в посетителях салонов и в избирательном корпусе, состоявшем из ста пятидесяти тысяч человек, правоспособность которых измеряется их кошельком. Притом он знал, что не одна избирательная коллегия переизбрала бы его в 1824 году, если б не постыдные интриги многих из его старых соратников; одни из них завидовали его превосходству, другие опасались порывов его патриотизма, которые всегда уводили их далее, чем они хотели идти. Он знал об этих низких проделках, но — слишком гордый для того, чтобы помешать им, показав, что их замечаешь, — он не удивился, когда его имя не было вынуто из избирательной урны. Если это и причинило ему страдания, то лишь как измена нашему делу и убеждениям. Но он как будто даже радовался за себя, потому что его оппозиция в палате слишком уж изолировала бы его, лишив возможности приносить пользу родине. Его вытолкали бы снова, и он не нашел бы в депутатах левой достаточной поддержки, что противная сторона не преминула бы счесть своим успехом. Есть драмы, которые нам, французам, нельзя играть дважды: в любом деле наш жар остывает слишком скоро. Наиболее влиятельные из коллег Манюэля позаботились о том, чтобы он не подвергся вторичному изгнанию из палаты, которого он вовсе не страшился. Так, некоторые из тех, кто взялся руководить выборами, написали в Вандею, что он, без сомнения, будет переизбран в Париже, а парижским избирателям показали написанные по их заказу письма оттуда, в которых испрашивалась для Вандеи честь его вторичного избрания, якобы безусловно обеспеченного.

Манюэль презирал подобные низости. Он как будто даже предвидел то забвение, в котором избирательный корпус оставлял его в продолжение четырех лет, и не переставал давать мудрые советы тем, кто, предавая его, предавал национальные интересы. А лежа на смертном одре, он часто повторял мне с горечью: «Вы верите в близость революции, я тоже верю. Но, друг мой, где же люди, которые смогут достойно управлять Францией?» Должно заметить, что Манюэль был слишком скромен, чтобы считать себя по способностям выше тех людей, от которых он так мало ожидал. Это было одним из его заблуждений.

Безвременная кончина Манюэля заставила наконец вспомнить о его заслугах и добродетелях. Тьер и Минье, присутствовавшие вместе со мною при его последних минутах, напечатали, несмотря на придирки цензуры, статьи, в которых эти преданные друзья призывали Францию скорбеть на могиле их красноречивого друга. За похоронной процессией,

вышедшей из замка Мезон, где он провел последние дни своей жизни, следовали г-н Лафитт, генерал Лафайет и множество других депутатов. Более всего почтило его память стечение бесчисленной толпы народа, сосредоточившейся на внешних бульварах, по которым нам предстояло пройти, — шествие по Парижу было нам запрещено приказом свыше. Здесь видна разница, которую правительство делало между Манюэлем и генералом Фуа¹⁶², похоронный поезд которого не встретил ни малейшего препятствия внутри Парижа даже и тогда, когда молодежь впряглась в катафалк. Но вот народ захотел оказать такую же честь отвергнутому трибуну, — и тотчас примчался целый корпус жандармов, готовых изрубить нас, если бы их порыв не был сразу же укрощен. Народ

упорствовал. Для предотвращения резни пришлось вести долгие переговоры. В обстановке грубости солдат и энергичных протестов толпы г-н Лафитт выказал хладнокровие и твердость, по которым можно было предвидеть его поведение в июльские дни 1830 года. Чтобы нас пропустили, пришлось снова запрячь лошадей в похоронную колесницу: требование очень скромное при наличии такого количества войск. Правда, сила народа увеличивалась во время спора и по крайней мере полтораста тысяч присутствовали при церемонии.

Мы прибыли к могиле. Обилие речей продлило мою муку: ведь для того, кто, оплакивая человека, близкого его сердцу, забывает о соображениях политических,—величайшее мучение вид шумных похорон, натянутое красноречие, глаза, устремленные без слез на останки твоего друга, с которым следовало бы расстаться, глубоко сосредоточившись в себе.

Говорили о том, что надо воздвигнуть надгробный памятник, и здесь еще более сказалась разница между Манюэлем и генералом Фуа. Все те, которых мы потом называли “золотой серединой” (это слово могло бы быть изобретено и ранее), а в особенности финансисты, поспешили начать подписку на мавзолей генералу и на учреждение капитала, могущего обеспечить будущность его детей. Но почти все эти туго набитые кошельки не захотели открыться для Манюэля, и подписка дала едва девять или десять тысяч.

Многие из богатых друзей его и не подумали принять в ней участие, точно так же как и при жизни Манюэля не подумали доставить ему, под каким-нибудь благовидным предлогом, средств к сносному существованию¹⁶³. Он оставил после себя только то, что накопил в бытность адвокатом-защитником в Эксе и адвокатом-консультантом в Париже. Последняя должность приносила ему, впрочем, очень мало,—с тех пор как его выбрали депутатом, он не брал никакой платы за свои консультации, полагая, что депутат не может быть платным адвокатом, иначе легко заподозрить его депутатскую честность: иногда ведь депутатам предоставляется случай вносить законы и голосовать за такие из них, которые могут оказаться в какой-нибудь связи с интересами его клиентов.

В завещании своем он назначил мне пожизненный доход в тысячу франков. Но он не подумал о всех тех семейных обязанностях, которые передавал своему брату—человеку, вполне достойному этой части наследства; Я отказался от нее, несмотря на все настояния брата Манюэля, и попросил только дать мне часы моего бедного друга и его волосяной матрац, на котором сплю и поныне. Но Манюэль-младший, несмотря на все мои отказы, всегда находил случай выполнить волю завещателя и даже намного увеличивал назначенную сумму. А так как его собственное положение улучшилось, то и я перестал противиться разными уловками действиям этого превосходного друга, привязанность которого ко мне равна той, которую я сохранил к памяти его знаменитого брата.

Если смерть Манюэля и не прервала моих сношений с предводителями либеральной партии,—некоторые из них стали моими личными друзьями, как, например, Дюпон (де л'Эр) и Лафитт,—то все же она вызвала во мне огромную потребность стать ближе к молодежи, благородные и широкие идеи которой гораздо более согласовывались с моими взглядами и чувствами. Я очень хорошо увидел это в 1828 году, при появлении моего четвертого тома. Министерство Мартиньяка¹⁶⁴ заключило нечто вроде перемирия и даже договора со многими членами левой и центра, и потому мне старались помешать выпустить в свет этот том, появление которого, как мне говорили, могло нарушить кажущееся доброе согласие этих господ.

Но чем настойчивее проповедовали мне молчание, тем острее чувствовал я необходимость прервать его, по-своему протестуя против “слияния” (модное выражение того времени), которое сбивало с толку общественное мнение и могло послужить укреплению принципов легитимизма. К тому времени я пользовался уже таким весом, что мог рассчитывать на некоторый успех моей новой попытки. Томик мой вызвал большой скандал, в особенности в рядах высшей оппозиции, многие предводители которой, метившие попасть в скором времени в министры, проклинали меня издали, не переставая, однако, при встрече протягивать мне руку. Если я и не сочинял песенок на этих якобы великих политиков, то у меня все-же было остроумие, жала которого они боялись. В том ремесле, которым я занимался, надо быть вооруженным всеми видами оружия, а у меня не было недостатка ни в эпиграммах, ни в колких словах. Это—один из недостатков моей юности, от которого я так и не смог “исправиться. Моя веселая общительность обеспечивала успех моих шуток, и эти шутки, в известном кругу, может быть не менее самих песен помогали народному делу.

Уверенный в том, что меня привлекут к судебной ответственности за этот четвертый том, вызвавший у моих друзей такие гримасы, я поспешил сделать визит превосходному Дюпону (де л’Ер) и Лафитту, а затем, чтобы надышаться вольным воздухом, решил было провести несколько дней на берегу моря. В Гавре я узнал, что против меня уже начались преследования. Тотчас же, оставив Дюпона, который очень боялся, что это новое дело будет иметь для меня не-приятные последствия, я возвратился в Париж, где добрые люди уже думали, что я бежал за границу. Дюпон написал мне, что готов защищать меня. Но я счел своею обязанностью дать ему понять, что он, сделавшись депутатом, лишился той свободы, которая нужна для защиты такого крамольника, как я, не согласного ни на какие уступки. На этот раз дело мое взялся защищать Барт и проявил такую горячность и преданность, что я готов был бы позабыть ошибки, какие он наделал впоследствии, сколько я ни старался предостеречь его от них,—это был один из лучших людей, каких я когда-либо знал и любил. Позволено ли мне быть строгим к нему и ко многим другим—мне, направившему их к высшим должностям,—на этот опасный путь, где непременно должен заблудиться всякий человек со слабым или же легкомысленным характером? Да и кто из нас не ошибался? Если и найдется такой, кто будет уверять, будто он не падал никогда,—поверьте, что и он падал, но только когда никто не смотрел на него.

Г-н Лафитт, как преданный друг, боялся, что здоровье мое пострадает от долгого заключения, обратился было к министрам с целью уладить мое дело. Но я упросил его прекратить подобные ходатайства; моим долгом было вынести и этот процесс.

—Смотрите,—сказал он мне,—если вы умрете в тюрьме, у вас будет могила не как у Фуа, но как у Манюэля.

—Мне вполне подойдет и еще более скромная,—ответил я ему.—Ведь у меня никогда не было хорошей квартиры.

Я не мог хорошенько понять, каким образом предполагали уладить мое дело; конечно, все это было вздором. Вот какое объяснение дал мне Лафитт, немного разбавившийся в этом: в исправительном суде, в ведении которого находились тогда дела о печати, обещали, если я буду сговорчив, наложить на меня самое ничтожное наказание без всяких прений сторон. Таким путем власти избегли бы судебных дебатов, гласности и вдобавок оградили бы себя от опубликования печатью осужденных песен—немаловажная выгода для наших противников. Разумеется, я отверг это предложение, и притом в такой форме, что на этом уже больше не настаивали, предоставив мне любоваться перспективой долгих лет тюрьмы,—предсказание, которое, к счастью, не сбылось.

По сравнению с впечатлением, которое произвел этот мой процесс на общество, что значили для меня девять месяцев, проведенных в тюрьме, и десять тысяч франков штрафа? Несмотря на пример, поданный гг. Лафиттом, Бераром, Себастьяни и множеством других, сопровождавших меня в трибунал, многие из моих великих друзей-политиков сочли, что гораздо благоразумнее будет еще раз покинуть меня. Но вскоре, обманувшись в своих расчетах, они посетили меня в Ла Форс—тюрьме, которую я выбрал. Назначение Полиньяка министром убедило их наконец, что им нечего ожидать от Бурбонов, а об этом я никогда не переставал им петъ и говорить.

Я без труда получил бы разрешение провести эти девять месяцев в больнице, но мне ив голову не приходило просить об этом. Между тем поводов к этому было немало: в первые четыре месяца моего заключения мне очень нездоровилось. Но если ведешь войну с правительством, смешно жаловаться на удары, которые оно тебе наносит, и неловко предоставлять ему случай проявлять свое великодушие, смягчая их силу.

Может быть, я думаю так и оттого, что, как говорил уже, тюремная жизнь, в особо отведенном уголке,—эта жизнь, по-монастырски размеренная и с длинными вечерами, была не лишена для меня некоторой прелести. Она вовсе не годится для молодежи. Но ведь мне было более сорока лет, когда я испытал ее. В этом возрасте я не раз мог задать себе вопрос: не родился ли я для монастыря? Но нет—там недостает свободы духа, мне без нее не обойтись.

Самая ощутительная неприятность тюрем,—иногда она просто невыносима,—это зрелище или непоправимых несчастий, навлеченных неблагоразумием, или испорченных натур, какие нередко встречаются в тюрьмах. Но кто бы поверил, однако, что не там, не в тюрьме, найдет мизантроп больше всего аргументов против бедного рода человеческого? Зато философ встретит там ужасные доказательства против законов, управляющих нами, хотя эти законы и менее несовершенны, чем те, которые тяготели над нашими отцами.

Во время моего заключения я испытывал живейшее беспокойство. Мои молодые друзья хотели открыть подписку, чтобы заплатить штраф, который вместе с судебными издержками и налогами достигал одиннадцати тысяч пятисот франков. Я предвидел, что она будет иметь мало успеха. Подписки уже утомили всех; к тому же трудовые слои не спешили подписываться, полагая, что друзья мои, банкиры, поторопятся покрыть этот политический долг. Но банкиры, чрезвычайно щедрые на слова, очень любят, чтобы на деле все обходилось им как можно дешевле; я хорошо знал это и устроил дело так, что избавил этих господ от складчины в мою пользу. Хотелось бы мне обойтись и без нашей публики, потому что и у нее природа немножко банкирская: она тоже любит стеснять права тех, для кого открывает свой кошелек. Но этого я не посмел бы тогда сказать. Подписка благодаря стараниям молодых людей удалась. Недоставало совсем немногого, но помог г-н Берар,—иначе мне пришлось бы доложить из своих денег.

После Июльской революции комитет помощи жертвам Реставрации предложил мне ренту в шестьсот франков из сумм, отпущенных с этой целью правительством. Я отказался: были жертвы, которые гораздо больше моего нуждались в помощи. Рабочий, отец семейства, которого сажают в тюрьму, более достоин сожаления, чем литератор, который даже и за решеткой,—если только он там один,—может еще работать для своей славы и для своего состояния.

Понятно, что я говорю здесь об условиях заключения во Франции, а не об условиях содержания политических преступников в Австрии, России, у папы, у турок и прочих варваров.

В Ла Форс ко мне пришел познакомиться Виктор Гюго и вскоре привел с собою Сент-Бёва¹⁶⁵. Пришел и Александр Дюма, весь сияющий от своих первых успехов на театре. Их визиты были мне вознаграждением за все битвы, данные мною во имя литературной революции, на которую решились они и их друзья и которая была лишь несколько запоздалым следствием революции политической и социальной. Ретроградные тенденции некоторых идей этой школы, издавна отвергаемые нашими либералами, старыми и молодыми, не мешали мне рукоплескать высокому лирическому гению Виктора Гюго и восхищаться “Размышлениями” Ламартина¹⁶⁶, с которым я сошелся, впрочем, гораздо позднее. Я радовался тому, что г-н де Виньи¹⁶⁷ сочетает в своих сюжетах и вкус и искусство, обладая талантом, не обычным между нами. Я понял обширность и изящество ума Сент-Бёва и вместе со всеми пророчил Дюма большие успехи в драматургии.

Напрасно возражали мне, что школа эта часто грешила против той демократической мысли, которая расчистила перед нею путь, что из среды ее раздавались оскорбления нашей славе, что там надругались над Наполеоном, умиравшим на острове Св. Елены, и не признавали заслуг, оказанных философией,—все эти грехи были для меня еще чувствительнее, чем для кого-либо другого. “Но,—отвечал я,—мы, начиная писать с юных лет, открываем свое поприще всегда идеями чужими, и у нас не хватает времени дать себе отчет, в каком соотношении находятся эти идеи с нашими собственными чувствами. (Этим, между прочим, и объясняется изменчивость стольких выдающихся умов); а так как все наши романтики еще очень молоды, то простим им ошибки, в которых мы можем требовать отчета разве только у их кормилиц. Но они по крайней мере заставляют литературу нашу выражать более откровенно все новое, современное, чисто французское, что мы так долго передавали, даже в наших политических собраниях, при помощи заимствований у древности или на языке, совершенно враждебном простому и точному слову, языку, образец которого представляет нам Делиль Дайте срок! Напрасно привязываются они к прошедшему,—они еще придут к нам. Язык, на котором они говорят, приведет их к нашим идеям”. Мне не хотели верить, а тем не менее мое предсказание сбылось. Язык, язык! Это душа народов. В нем читаются их судьбы. Когда же наконец в наших школах будут по-настоящему преподавать ученикам французский язык? Когда же там будут читать систематический курс истории языка, с Франциска I¹⁶⁸ до наших дней, и не для того, чтобы толковать наших писателей, но чтобы с помощью этих писателей, отголосков их века, объяснять нам развитие языка, шедшее порой ощупью, его уклонения от пути; периоды застоя и движения вперед?

Если уж речь зашла о языке, то я хочу сказать, почему в этом отношении поэма “Жослен”¹⁶⁹, не говоря уже о других ее красотах, кажется мне таким чудным творением. В “Падении ангела”, без сомнения, виден большой талант. Но я не видал нигде, чтобы стих, который мы называем “расиновским”, передавал так глубоко, как в “Жослене”, все подробности интимной жизни и почти на всех ее ступенях. Никогда этот стих не проявлял столько гибкости при самых трудных описаниях и рассказах и не был таким непринужденным и правдивым, сохраняя все свое изящество и гармонию. Это был величайший прогресс в нашей поэзии: с тех пор она все может высказывать и все живописать.

Я знаю, что в “Жослене” есть небрежности и длинноты, но поэма изобилует таким множеством красок, что из-за них можно простить несколько пятен, которые притом так легко вывести. Если бы подобная поэма пришла к нам из-за Рейна или с той стороны Ламанша, у нас во все голоса кричали бы, что это—чудо.

Пора, однако, вернуться в тюрьму еще на несколько часов.

Полиция боялась, чтобы выход мой из Ла Форс не подал повода к каким-нибудь шумным манифестациям около самой тюрьмы. А так как и я боялся этого не меньше полиции, то я позаботился обмануть друзей моих насчет дня моего освобождения. Смотритель разбудил меня чуть свет, чтобы “вытолкать за дверь”, как он говорил смеясь. Очутившись на свободе после девятимесячного заключения, я прогулялся по бульварам с такою же беззаботностью, словно только что вышел из дому, и это может дать представление о том, как легко я мог менять мое положение и как мало у меня было претензии возбуждать чью-нибудь жалость.

Однако я приближался к старости.

Последнее судебное дело бросило на мою жизнь новый отблеск славы. А так как династия своими ошибками ежедневно разочаровывала самых преданных и самых способных из своих приверженцев, то в той же мере всякий день возрастало число людей, которые свидетельствовали мне свое расположение. Я всегда мечтал о знакомстве с Шатобрианом. Какова же была моя радость, когда я узнал, что по возвращении своем из римского посольства он тоже изъявил желание познакомиться со мною! Поэт, который застал песню на столь низкой ступени в иерархии жанров, мог, по справедливости, гордиться тем, что он привлек к ней внимание автора “Мучеников” и “Тения христианства”¹⁷⁰. Это самая высокая литературная награда, какой только я мог достигнуть. В сочинениях, которые Шатобриан издавал с того дня, когда я впервые пожал ему руку, он засвидетельствовал перед публикой свое благоволение ко мне. Но он умолчал вот о чем: узнавши года два тому назад¹⁷¹, что я испытываю некоторые денежные затруднения и потому должен отказывать себе в том, что я давно привык считать для себя необходимым,—он поспешил открыть мне свой кошелек, и это в то время, когда сам вынужден был продать свой дом на улице Анфер. Мне очень хотелось принять его предложение,—не для того, чтобы воспользоваться им, а просто чтобы быть друг другу обязанными. Но я не сделал этого, так как живу за шестьдесят лье от Парижа, а пересылать деньги стоит дорого; дорогие же удовольствия, без сомнения, ему теперь непозволительны, так же как и мне, которому, впрочем, они никогда и не были дозволены.

На подаренном мне экземпляре своих “Исторических этюдов” автор “Рене”, написал автору “Старушки” следующий куплет:

Скажите новоявленным героям:
Я, как и вы, о Франции рыдал.
В те дни, когда слетелись беды роем,
Надежду я и славу воспевал.
Скажите им, что бури злой дыханье
Похитило всю жатву у меня...
Пусть обо мне живет воспоминанье
Хоть в песнях Ваших, спетых у огня.

К этому документу моей славы, который я бережно храню, было бы заманчиво прибавить несколько писем моего знаменитого и превосходного друга Ламеннэ¹⁷²,—ему, как и мне, так хотелось, чтобы мы доживали свою старость вместе! В письмах его тоже найдется доказательство того, что часто люди самых противоположных партий, но с горячим сердцем могут заключить союз под знаменами отчизны и человечества. Вот

могущественное основание для того, чтобы в борьбе взглядов никогда не доходить ни до ненависти, ни до оскорбления против отдельных лиц, как только мы признаем их честными и добросовестными противниками. Если человек, без сомнения остроумный, но с недобрым сердцем, сказал: “Будем вести себя с друзьями так, словно они должны однажды сделаться нашими врагами”, то человек добросердечный изменил это ужасное правило: “Будем вести себя с врагами так, словно они должны сделаться однажды нашими друзьями”, и это я любил повторять себе. Что же до слова “враг”, то я употребляю его только потому, что оно встретилось в этой фразе,—сам же я не называю так никого. Напротив, я мог бы называть друзьями слишком многих, будь у меня привычка расточать это звание без разбора и награждать им всякого, кто его добивался.

Обо мне говорили даже, что я отвергал почти все приглашения, сыпавшиеся на меня со всех сторон. Между прочим, вельможи из среды старинного дворянства, поддерживавшие либеральную партию, никогда не могли привлечь меня к себе. И я даже сказал однажды почтенному г-ну Ларошфуко-Лианкуру¹⁷³, который был так милостив, что упрекнул меня в этом: “Господин герцог, поверьте мне, что не смешная демократическая прихоть мешает мне уступить вашим настояниям. Я ценю ту честь, которую вы мне оказываете. Но ведь я пользуюсь совсем не тем словарем, к какому прибегают в ваших салонах. И до тех пор, покуда я не перелистаю последний, я буду там либо глуп, либо нем”. В самом деле, у меня была привычка подчиняться манерам и тону тех, к кому я шел,—но если переодевание стоило мне дорого, я больше туда не возвращался. Я мог бы также сказать герцогу, что всегда стесняюсь с людьми, которых знаю только по имени. У меня к ним нечто вроде предубеждения, пока я не разгадаю их, а до тех пор они лишают меня внутренней свободы. Г-н де Ларошфуко так хорошо понял меня, что, собираясь обратиться ко мне в 1818 году с просьбой сочинить песню для праздника в Лианкуре по случаю отбытия неприятельских войск, просил принять его у меня или встретиться с ним в кафе. Разумеется, я тотчас же явился к нему. Еще до того я думал написать что-нибудь на этот сюжет и обещал, если песня напишется, подарить ему ее для патриотического праздника. И как только “Священный союз народов” был окончен, я отослал его герцогу, за что и получил большую благодарность. А так как он был одним из администраторов богоугодных заведений, то я разрешился и таким злым двустушием:

Я песню герцогу осмелился послать:
В его больнице мне теперь дадут кровать!

Да, нечего пренебрегать койкою в больнице! Наши либералы из числа старых дворян, несмотря на добровольный отказ от титулов и даже от дворянской приставки “де”, почти все продолжали оставаться немножко герцогами, маркизами и графами; я знаю даже одного из них, который превозносил до небес аграрный закон¹⁷⁴; но проповедовать куда дешевле, чем наделять милостыней, и он затеял не один процесс со своими соседями за сохранение своих помещичьих прав, уже давно отживших.

Многие вельможи императорской фабрикации¹⁷⁵—бедные луны, померкшие, когда закатилось их солнце,—все еще сохраняли свою смешную спесь и при малейшем благоволении двора становились дерзкими и заносчивыми, хотя это и не мешало некоторым из них обращаться со мною очень вежливо после июльских дней. Во время Реставрации они не смели и говорить со мною, боясь скомпрометировать себя. Но когда Карл X пал, я стал кое-что значить, а эти господа начали везде искать помощи и совета, как бы снова вернуть себе свое закатившееся величие. Многие из них старались втереться в

дома Сен-Жерменского предместья, чтобы его старое дворянство утвердило их новые титулы. Измена этих новоиспеченных дворян своему плебейскому происхождению вынуждала меня быть к ним гораздо строже, нежели к тем, кто обязан был своими предрассудками крови и воспитанию. Я думаю, что так судил и весь народ. Проезжая Компьен, откуда только что выехал император и его двор,—это было, я думаю, в 1808 году,—я встретил по дороге старую крестьянку. Вне себя от радости, она подбегает ко мне и кричит:

—Ах, сударь, наконец-то я его увидела!

—Кого же?—спросил я, притворяясь, что не понимаю ее.

—Императора! Императора!—отвечает она.—Он поклонился мне. Он кланяется всем. Не так как эти господа, что с ним. Сейчас видно, что они всего-навсего выскочки.

Бедная женщина не видала выскочки в-том, кого слава вознесла так высоко. Так и народ. Исключая нескольких прославленных военных имен, он мало уважал придворных этого блестящего двора, где, однако, были люди высоких дарований и многие представители славных старинных дворянских родов.

Лафайет, человек исполненный ко всем равного благоволения, был, по крайней мере по виду, совершенно свободен от притязаний своей касты. Если в нем и узнавали давнего аристократа, то, может быть, именно потому, что он слишком уж старался заставить всех забыть об этом. Несмотря на все изъявления дружбы, которые он не переставал мне навязывать, я ни разу не посетил его в замке Лагранж, тогда как все искали чести быть там принятыми; и это, не глядя на его неоднократные приглашения, не глядя ни на какие настояния Манкюэля, которому очень хотелось ввести меня туда,—и я подозреваю, что в глубине души генерал был немножко раздосадован. А затем—почему же мне не признаться в этом?—я сомневался в его политических способностях и упрекал его в том, что в последние минуты Империи он не последовал благородному примеру Карно. Я знал, что во время Ста дней мудрые патриоты и, между прочим, Дюпон (де л'Ер) были бы вправе сделать ему тяжелые упреки. Все это способствовало, быть может, моему отказу ехать в Лагранж. А затем я чувствовал, что в моем положении слишком сблизиться—означало бы стать приверженцем, а это вовсе не шло к духу независимости, которым я был проникнут. Разумеется, меня ругали за это. Я и сам ругал себя, но, несмотря на все только что сказанное, быть может, никто более меня не признавал чистоты намерений Лафайета и его огромных услуг, оказанных им делу свободы. Но я повиновался своему инстинкту.

Я всегда слишком верил в народ, чтобы одобрять тайные общества: они представляют собой своего рода нескончаемый заговор, без всякой пользы компрометируют множество людей, создают целую толпу маленьких, соперничающих друг с другом честолюбцев и подчиняют принципы эгоистическим страстям. Они плодят недоверчивость, ведущую к раздорам и даже изменам, и в конце концов, привлекая к себе представителей рабочих классов, развращают их, вместо того чтобы просветить. Я мог бы привести доказательства всему тому, о чем говорю здесь. Мне хорошо известно, что сделали эти общества, или известно по крайней мере настолько, чтобы сказать утвердительно, что эти общества годятся только для народов, угнетаемых чужеземцами. Если не считать некоторой пользы, которой Лафайет мог ожидать от подобной политической среды, то этот великий гражданин думал, вероятно, так же, как и я. Он не только отверг предложение стать карбонарием, но старался отвлечь многих из моих друзей—и, между прочим, Манкюэля—от намерений войти в это общество. Революция 1830 года доказала, что в стране, где люди, независимо от существующей формы правления, обеспечили себе

некоторую сумму свобод, нет надобности ни в тайных обществах, ни в заговорах, чтобы народ заявил, когда нужно, свою волю. Общество “Помогай себе сам, тебе и небо поможет”, действовавшее открыто, одно только и оказало услуги нашему делу.

Что бы там ни говорили и ни писали легитимисты, никакой заговор, никакое тайное общество не подготовило того благородного восстания, которое ниспровергло старшую линию Бурбонов. Я даже видел людей, чрезвычайно удивленных тем, что победа была одержана без них. И мне можно верить: по своему тогдашнему положению я был хорошо осведомлен обо всем, а по теперешнему положению могу говорить всю правду. В то время правительство Карла X одно только и было в заговоре против самого себя. Но это, однако же, вовсе не значит, чтобы в продолжение многих лет некоторые честолюбцы не составляли всевозможных проектов и не вырабатывали плана своего поведения. Так, в 1824 или в 1825 году герцог Орлеанский¹⁷⁶ говорил одному из моих друзей: “Будь что будет, а я не уеду из Франции, разве только меня выгонят”. О многом позволяют догадываться эти слова, а спустя несколько времени после того, как они были произнесены, г-н де Талейран¹⁷⁷ уверял этого же друга, будто сношения с английскими тори убедили его в том, что в Англии не проявят недоброжелательства к революции во Франции, если дело ограничится только переменой личностей. Быть может, это заставило бы призадуматься тех, кто стремился к этой революции, если б Карл X сам не сделал своего падения неизбежным.

Это дает мне повод поговорить о Талейране и о тех немногих случаях, когда я мог сравнить этого человека с его славой. Он изъявлял несколько раз желание где-нибудь встретиться со мною. “Почему же вы не пригласите его отобедать?” — сказал ему один из моих друзей, который понимал, в чем тут дело. “Я слишком вельможа для того, чтобы получить отказ”, — отвечал Талейран улыбаясь. Он попросил Лафитта пригласить его обедать вместе со мною. Это было в начале 1827 года. Я мог наконец вдоволь насмотреться на эту любопытную личность. И потому я сразу впился в него глазами и насторожил слух. Он знал, что за несколько лет до этой встречи некто, принадлежавший к составу правительства, неофициально просил меня написать против него, Талейрана, песню, но я отвечал: “Подожду, когда он станет министром”. Без сомнения, он не очень опасался этого и несколько не был смущен тем, что знал о моем предубеждении против него; моя скромная особа была для него только предметом простого любопытства. Он был со мною очень любезен и тотчас же заговорил о политике. Именно в тот раз, подыскивая ответ на суждения, не совсем благоприятные для герцога Орлеанского, теперешнего короля, он произнес знаменитую фразу: “Это не кто-то, а что-то”. После многих встреч я мог наконец убедиться, что если о Талейране было сказано много острых слов, то еще больше сказал он о других. Остроумие у него было драгоценной оправой большого и здравого ума, проявлявшего себя в острой и афористической форме. Если бы кто и не знал ни его лет, ни различных ролей, разыгранных им то все это можно было бы угадать по тому опыту, который сквозил в его словах, облагороженных безукоризненным тоном человека, принадлежащего к высшему обществу, пережившего несколько революций и не пугавшегося дурного тона других.

Нужно сказать, что занимаемое им положение давало ему громадное преимущество в салонах. Он не торопился отвечать на вопросы, он принимал на себя роль оракула, и его спрашивали, как оракула, приписывая значительность даже его молчанию, за которым скрывалась подчас либо скука, либо лень — его любимый порок. Вообще в нем не было ничего возвышенного, ничего глубокого, ничего великодушного; эгоист в высшей степени, он признавал свою личную пользу единственным двигателем даже в делах политических,

а этого достаточно, чтобы отказать ему в славе великого государственного мужа, славе, которую он снискал у тех, кого ослепил своими старыми титулами и княжеским великолепием¹⁷⁸.

Я ничего не скажу более об этой исторической личности. Те, кто будет писать о нашей эпохе, надеюсь, сведут к надлежащим размерам воображаемые способности Талейрана и навеки заклеят этого бывшего епископа, аристократа, предавшего Францию и Наполеона, благодеяния которого дали ему такое высокое положение, и отплатившего ему за них в 1814 году катастрофическим парижским трактатом¹⁷⁹, подписанным к великому изумлению самих иностранцев.

Мне уже больше нечего сказать в назидание тем, которые следят за моим поприщем, покинутым мною в пятьдесят три года¹⁸⁰.

Находясь постоянно в тесных сношениях с главными руководителями либеральной партии, я, так же как они, и даже более, чем многие из них, способствовал событиям Июльской революции 1830 года. После победы принципа народного над принципом легитимистским я счел свою роль оконченной, а миссию свою исполненной. Мне казалось, что нации нужен период покоя, чтобы должным образом оценить содеянное. А что касается людей, которых власть опьянила или по крайней мере вскружила им голову, то я увидал с первых же дней, что мне нечего делать подле них. Я удалился и ждал их в уединении, где и в самом деле некоторые вскоре навестили меня.

Многие из друзей моих желали, чтобы я добивался чести принадлежать к составу правительства. Оставя уже в стороне препятствия ценза, который не отвечал моему состоянию, я считал, что подобные претензии вовсе не шли к человеку, рано понявшему всю слабость своего характера и всю поверхностность своего образования. Власть—это инструмент, которым владеть чрезвычайно трудно, который надо сначала хорошо изучить, прежде чем употребить в дело. А я уже был в возрасте, когда каждый день только и убеждаешься, как мало ты знаешь.

Если мне случалось в некоторых обстоятельствах выказывать больше проницательности и сметливости, чем проявляли люди гораздо просвещеннее меня, то я обязан этим только моему особому положению. Я действовал мало, был совершенно лишен всякого личного интереса, и у меня не было никакой честолюбивой задней мысли. Вот почему я иногда мог видеть отчетливее и дальше, чем видели люди, которые были бесконечно выше меня по уму, но которыми управляли желания или страсти, не имевшие надо мною силы. Ведь и благородные страсти, например стремление к популярности, могут затемнить самый здоровый рассудок. Не следует обманываться: мое преимущество над другими заключалось, что я был ничем и что я почти ничего не совершил. Но только глупец может кичиться таким счастьем.

Мои молодые друзья-республиканцы, не менее других ошибаясь в моих способностях и думая найти во мне надежного воплощения их убеждений, тоже уговаривали меня протянуть руку к какому-нибудь портфелю.

—Какое же министерство, по-вашему, должны мне дать?

—Народного просвещения.

—Пожалуй! Но только я попаду туда, как тотчас же велю ввести книгу моих песен в качестве пособия для женских пансионов.

При этих словах мои молодые друзья сами же расхохотались над своей безрассудной идеей.

Новое правительство делало мне предложения самые почетные. Но я отвергал их, будучи не из тех, кого прельщают синекуры. Работа по обязанности не подходила мне, а имея средства от продажи моих маленьких томиков, я краснел бы, черпая богатство из того сундука, который истомленная нация ежегодно наполняет с таким трудом. Я считаю честью для себя, что никогда не был в тягость моим согражданам. И доказательством того, что это происходило не из пуританизма (эта лжедобродетель так мало идет ко мне!), служит то, что, как уже сказано выше, я никогда не колебался, даже и после 1830 года, прибегать к кошельку тех из моих богатых друзей, которые не были политическими деятелями.

Я хочу рассказать здесь об одной из самых лестных наград моему патриотизму. В пятницу великой недели революции какая-то дама, с которой я не был знаком и которую в глаза никогда не видел, пробираясь сквозь толпу, наполнявшую салоны Лафитта, подошла ко мне и подала огромное трехцветное знамя. “Сударь,—сказала она,—я шила всю ночь это знамя. Вам, вам одному хочу я вручить его, чтобы вы приказали водрузить его на колонне”. Растроганный до слез, я поблагодарил эту даму, но все же настаивал на том, чтобы эта честь была предоставлена присутствующим депутатам. “Нет, нет,—ответила она,—вам, только вам”. И она исчезла.

Это знамя было тотчас же водружено на площади Вандомской колонны молодыми людьми, свидетелями этой сцены.

У меня, кто получал и теперь еще получает столько свидетельств любви народной, нет воспоминания, которое так часто просыпалось бы во мне, как об этой даме и ее знамени. Я так желал бы, чтобы она пережила меня и могла когда-нибудь прочитать эти слова признательности, которую я сохранил к ней!

Чтобы не попасть как-либо в неловкое положение, да и потому еще, что я не любил мозолить глаза без нужды, я счел своим долгом не представляться новому королю, который между тем не раз выражал желание меня видеть и даже благодарить меня,—слово, за которое отвечают два моих друга, Лафитт и Тьер. Я возразил шутя, что слишком стар для того, чтобы заводить новые знакомства. Мой отказ приписывали моим убеждениям—и ошибались. Я никогда не видал герцога Орлеанского, но знал, что это человек умный и рассудительный. Сделавшись королем, он не мог не знать, что хотя я и способствовал тем решениям, которые были приняты на его счет¹⁸¹ после победы народа,—я не переставал от этого быть человеком, вскормленным идеями республиканскими; патриот прежде всего, я считал тогда необходимым, в силу обстоятельств, ничем не преодолимых, поступить против своих убеждений ради общественного блага. Это было результатом пятнадцати лет размышлений. Никогда не приставая ни к одной партии, потому что я не был человеком партии, а человеком свободных убеждений, я был совершенно свободен и в этом случае. Итак, республиканизм мой не мешал бы мне представиться государю, который на возражение, сделанное ему Лафиттом, отвечал, без сомнения, улыбаясь: “Я тоже республиканец”. Я боялся того, чтобы при моем представлении ему он не стал бы предлагать мне каких-нибудь почетных должностей или пенсий. Короли, как бы они новы ни были, не любят, чтобы им противоречили в глаза. Отказ прийти к нему означал бы просто мою дикость, но отказ от его милостей мог бы показаться дерзким высокомерием. Притом же у меня вовсе не было желания выставить напоказ то, что хотели называть моим бескорыстием.

Да и, наконец, к чему могли послужить один или несколько разговоров между двумя индивидуумами, положение которых было столь различно и которые уже достигли того возраста, когда идеи приобретают тем большую стойкость, чем больше могут гордиться

своей давностью? Король и песенник не поняли, бы друг друга, как бы один ни старался казаться милостивее и как бы другой ни считал своим долгом быть вежливее. Сделаться мне советником короны? Но если мои друзья, ставшие министрами, уже более не слушали моих почтительнейших представлений,—то неужели королю придет охота считаться с ними? Он бы расхохотался, и это был бы один из его самых веселых дней.

А поразмыслив, я и сам посмеялся бы над той глупой ролью, которую попробовал бы играть и которую приняли на себя столько простофиль, с успехом, известным нам всем.

Те, кто хотел ввести меня в королевский дворец, говорили мне:

—Там принимают без церемоний. Туда отправляются в сапогах.

—Ладно! Ладно!—отвечал я.—Сегодня в сапогах, а завтра в шелковых чулках.

Все это, однако, дорого стоило моему любопытству; какое зрелище для наблюдателя должен представлять собой этот новый двор!

Точно так же держался я вдалеке и от литературных почестей,—и, между прочим, для того, как я часто повторял, чтобы не причинить вреда свободе того жанра, которому я стольким обязан —и значение которого,—да простят мне это!—я, быть может, преувеличиваю. Что хорошего будет в том, если песня получит академический титул? Не станут ли поэты-песенники слугами власти, чтобы попасть в институт, сделавшийся ступенью к палате пэров? Народу может еще пригодиться песня-сатира, и я нисколько не прочь иметь преемников.

Мне предстоял прекрасный случай вступить в Академию в последний год царствования Карла X, когда г-н де Шатобриан, по своему крайнему ко мне благоволению (мы были знакомы еще очень мало), предложил мне выставить свою кандидатуру на соискание первого же вакантного кресла. Стань я академиком в то время, это могло бы иметь значение политически полезное, что и доказывается теми упреками, которые Шатобриан навлек на себя этим поступком со стороны одной газеты. Однако я не уступил упорным настояниям великого человека, который предлагал даже быть моим крестным отцом, если можно так выразиться.

С Июльской же революции я видел бы в моем принятии в Академию, если бы только она удостоила избрать меня в число своих членов, обязанность присутствовать на всех публичных церемониях, носить там шитую золотом одежду, произносить, со шпагою на боку, в присутствии многочисленных слушателей, напыщенные речи и слишком часто бороться с происками вроде тех, какие так опечалили Константа на его смертном одре¹⁸² или же тех, в результате которых был трижды отвергнут наш великий поэт Гюго¹⁸³.

—Но,—повторяли мне сами академики,—кто заставил бы вас подчиняться всему этому скучному распорядку? Поступайте, как мы: ведь мы в Академию ни ногой.

Вот чего, право, я никогда не мог понять.

Как, господа, пренебрегать обязанностями, налагаемыми на вас той почетной должностью, которой вы так домогались! Нет, это было бы для меня еще тяжелее, чем исполнение самих обязанностей, к которым мой характер, быть может, приучил бы меня.

Как скоро мои убеждения позволяли, я всегда старался согласовать свое положение с моим характером и вкусами—правило, которое соблюдается реже, чем принято думать. Но чем больше я старился, тем ощутительнее становилась потребность в полной независимости, что должно было неминуемо развить во мне боязнь всякого рода обществ. Я не могу размышлять иначе как в одиночестве, и мне теперь лучше всего живется, когда я наедине со своими мыслями,—если только подле меня нет старых друзей.

Несмотря на непостижимую популярность моего имени, несмотря на одобрение стольких выдающихся людей и похвалы, расточаемые мне даже в театре, я не скрываю от себя некоторых неудобств от того, что я не академик. Я теряю теперь то особенное уважение, которым так или иначе пользуются члены Академии, и тело мое будет лишено тех торжественных почестей, которые она определила своим умершим членам,—почестей, над которыми притворно смеется тот, кто им завидует, и на которые публика смотрит далеко не равнодушно. Да и как знать,—мое поведение, перетолкованное в дурную сторону, не настроит ли Академию против моей памяти, как бы мало ни пережила меня эта память? Я слишком чистосердечно любил литературу, чтобы не бояться этого. И опасение это я не колеблюсь высказать, ибо оно послужит прямым ответом тем, кто обвинял меня в том, что я не добиваюсь академического кресла из желания отличить себя от других какой-нибудь особенностью. В настоящее время, когда уважают только особенности, которые приносят выгоду, я просчитался бы. Скажу наконец, что если я и не всегда признавал пользу Французской академии, то впредь я намерен более чем кто-либо другой воздавать должное этому детищу Ришелье. Доказательством тому служат упреки, которые я не перестаю делать ее членам (а в числе последних я считал и еще теперь считаю много друзей!), упреки, что они не употребляли на благо языка власть свою во время той страшной литературной анархии, когда язык нуждается в широком и разумном покровительстве, чтобы устоять против варваризмов суда, журналистики и политической трибуны. Дело ведь доходило до того, что у нас вошли в честь областные наречия! Академики не должны бы забывать об этом. Так же как и государство, язык нуждается в единстве, и вот почему этот великий министр¹⁸⁴, деятельность которого имела столь высокое национальное значение, основал Французскую академию.

Что же касается меня, кого язык занимал постоянно и горячо, несмотря на мою неученость, или лучше сказать, благодаря ей, то я предпочел бы присоединению Бельгии и рейнских провинций к Франции—большой и прекрасный словарь, составленный Академией при помощи всех разделов Института, пересматриваемый каждые десять лет, раздаваемый даром всем административным органам, большим и малым, и занимающий место подле¹⁸⁵ наших кодексов, с которыми он, по моему мнению, сравнялся бы тогда в пользе¹⁸⁵.

Мне остается прибавить еще очень немного к этой и без того слишком длинной заметке.

После начала революции в Польше, я, будучи членом польского комитета, напечатал маленькую брошюру, в которой было четыре песни и посвящение Лафайету. Тираж, отпечатанный добрым Перротеном на свой счет, был отдан комитету, в распоряжение которого поступил и весь доход от ее продажи.

До 1833 года у меня не было возможности издать свой последний том, но, издав его в названном году, я обещал публике не занимать ее более собою. Я знал, что сдержу слово, если только не произойдет больших изменений к худшему. И с тех пор я делал все, чтобы погрузиться в забвение и приобрести полную свободу, потому что известность—это тоже зависимость, притом зависимость иногда очень тяжелая,—чему, вероятно, не поверят молодые люди. Хорошо еще, если эта известность всегда вызывалась славой!

Сердечно привязанный к людям различных партий, вступивших в борьбу между собою по водворении новой династии, опечаленный ошибками, которые те и другие, казалось, старались делать наперебой друг перед другом, утомившись проповедовать перемирие, в котором столь нуждалась Франция, я удалился, чтобы не видеть этого грустного зрелища. Я искал убежища в Пасси, Фонтенебло, Туре¹⁸⁶,—и в этом последнем городе пишу этот

труд, который, быть может, буду заканчивать где-либо в другом месте.

Я сомневался в самом себе всю свою жизнь, и мне было бы грустно умереть с сомнением в других. К счастью, я довольно хорошо изучил, куда идет современная история мира, и могу отсюда вывести заключение довольно утешительное, несмотря на зловещие предзнаменования, внушаемые личными разочарованиями. Торжество равенства готовится в Европе, и слава моей дорогой родины будет в том, что она первая, ценою величайших жертв, провозгласила необходимость правительства демократии, организованного на основе законов, которые составляют для всех насущную необходимость. Итак, я могу благодарить бога за надежды, ниспосланные мне им,—надежды на успех того дела, которому я служил и которому будут посвящены мои последние желания и мои последние песни.

Тур, январь 1840 г.



-
- 1 Имеется в виду дед поэта со стороны матери—Пьер Шампи, воспетый им в песне “Портной и волшебница”.
 - 2 * С того времени, как это было написано, на месте дома устроен садок для устриц. (Здесь и дальше примечания принадлежат самому Беранже только если они начинаются со звездочки.)
 - 3 Жан-Франсуа де Беранже (1751-1809), женившийся 10 августа 1779 года на Марии-Жанне Шампи.
 - 4 Эпическая поэма Вольтера (1723) в защиту веротерпимости, повествующая о религиозных войнах при Генрихе IV.
 - 5 “Освобожденный Иерусалим”—поэма итальянского поэта Торквато Тассо (1544-1595), изданная в 1575 году.
 - 6 Иоас—израильский царь IX в. до н. э., внук Гофолии; стремясь захватить власть после смерти своего сына, Гофолия уничтожила всех его детей, кроме Иоаса; здесь: персонаж трагедии Расина “Гофолия”.
 - 7 5-6 октября 1789 года, когда парижские народные массы двинулись в Версаль, чтобы принудить королевское семейство переехать в Париж, народ неожиданно встретил вооруженное сопротивление со стороны королевских телохранителей—швейцарской гвардии.
 - 8 Арно (1766-1834)—французский поэт и баснописец.
 - 9 Беранже получил при крещении имени Пьер-Жан.
 - 10 Роман французского писателя Фенелона “Приключения Телемака”, изданный в 1699 году.
 - 11 Две эпические поэмы—упомянутые выше “Генриада” и “Освобожденный Иерусалим”.
 - 12 Персонаж из романов Рабле, веселый и воинственный монах, для которого Гаргантюа построил Телемское аббатство.
 - 13 Автобиография Беранже написана в годы Июльской монархии, старавшейся робостью своей внешней политики примирить венценосцев Европы со своим “баррикадным” происхождением.
 - 14 Беранже прочитал поэму Вольтера “Орлеанская девственница”, где Вольтер, издеваясь над религиозно-католической трактовкой подвига Жанны д’Арк, сильно снижал образ героини поэмы.
 - 15 Имеется в виду фраза из трактата Ж.-Ж. Руссо “Эмиль, или О воспитании”: *Необходимо, чтобы Эмиль избрал определенный род занятий.*
 - 16 Основоположник законодательства в древней Спарте (IX в. до н. э.).
 - 17 Фенелон (1651-1715)—французский писатель, критиковавший министров Людовика XIV и смело указывавший королю и знати на тяжелое положение Франции к началу XVIII века.
 - 18 Дюмон, Андре (1764-1836)—деятель Великой французской революции, умеренный якобинец, супрефект в провинции при Империи, изгнанный в 1816 году как член “цареубийственного” Конвента.

- 19 * Немногие из членов Конвента, посылавшихся им в провинцию, отличались такою разъяренной декламацией, как Андре Дюмон; он завоевал себе этим доверие и использовал его к выгоде своего департамента. Хотя было произведено—с большим шумом—немало арестов, но лишь один или двое неосторожных оказались в Амьене единственными жертвами, принесенными ради спасения всех остальных. Я всегда удивлялся тому, как мало благодарности внушил своим согражданам этот человек, хотя присущая ему любовь к людям составляла такой мужественный контраст с жестокостью многих его коллег. Я видел своими глазами, как он публично расправился с нелепыми доносами, отправив доносчиков в тюрьму. В ту пору я еще не мог как следует оценить, какому риску подвергался он, действуя подобным образом.
- 20 Революция XVIII века разрешала священникам заниматься богослужением лишь при условии принесения ими присяги Первой республике.
- 21 Клермон-Галлеранд (1744-1823)—французский аристократ, эмигрант в годы революции; один из пэров при Реставрации.
- 22 Бурмон, де, граф (1773-1846)—аристократ-роялист; вначале вандеец и активный участник заговоров против Наполеона; впоследствии перешел к нему на службу; при Реставрации был министром, при Июльской монархии—легитимист.
- 23 Бюффон (1707-1788)—французский естествоиспытатель и литератор.
- 24 Имеется в виду роялистский заговор аббата Бротье, раскрытый в 1797 году; заговорщики собирались арестовать членов Директории и восстановить монархию. Беранже-отец обвинялся в произнесении злонамеренных речей, но был по суду оправдан.
- 25 Журден—персонаж комедии Мольера “Мещанин во дворянстве” (1670); комический тип буржуа, желающего во что бы то ни стало походить на дворянина.
- 26 Подразумеваются дни 10-13 вандемьера (2-5 октября) 1795 года, когда генерал Бонапарт расстреливал на улицах Парижа толпы участников роялистского заговора против Конвента.
- 27 Монк (1608-1670)—английский генерал, предавший английскую революцию ради восстановления на троне династии Стюартов.
- 28 Граф д’Артуа (1757-1836)—брат короля Людовика XVI, вступивший в 1824 году на престол под именем Карла X; низложен Июльской революцией 1830 года.
- 29 Сведенборг (1688-1772)—шведский писатель-мистик.
- 30 Сен-Мартен (1743-1803)—французский мистик и литератор.
- 31 Казотт (1720-1792)—французский писатель.

32 * Перечитывая рукопись и видя имя бабушки, я считаю необходимым сопроводить его примечанием, чтобы критики знали, что сочиненная мною песня “Бабушка” не дает портрета ни одной из моих бабок,—и та и другая были женщинами равно почтенными. Выпестовавшая меня жена портного, большая труженица, не знала других развлечений, кроме чтения книг; а мать моего отца, не менее славная женщина, тоже была образцом добродетели.

Я думал, что среди сочинений писателя легко отличить те, которые порождены особенностями его жанра и его фантазией, от тех, где он изображает себя самого. Оказалось, что это вовсе не так. Вот, например, сестра у меня монахиня, и я вынужден сказать, что песня “Сосед”, где имеется строчка “мне монахиня-сестра говорит” и т. д., написана мною задолго до того, как моей сестре вздумалось пойти в монастырь.

Я не хочу подавать повода к злоупотреблению фразой, находящейся в одном из моих предисловий: “Мои песни—это я”. Да, это, конечно, я, но и другие тоже; и я признателен критику, который, говоря о моих книгах, метко окрестил их, назвав “Песенной комедией”.

33 *Взрыв адской машины*—покушение на Наполеона (под его карету была брошена бомба) 24 декабря 1800 года; оно было организовано эмигрантами-роялистами; непосредственными участниками покушения оказались Карбон и Сен-Режан; был арестован также граф де Бурмон и ряд других роялистов.

34 Речь идет о военных неудачах Директории во время пребывания Наполеона в египетском походе.

35 Массен (1756-1817)—наполеоновский маршал. Брюн (1763-1815)—наполеоновский маршал, убитый роялистами.

36 Барра (1755-1829)—член Директории.

37 Ювенал (I-II вв. н. э.)—римский поэт-сатирик.

38 Шенье, Андре (1762-1794)—французский поэт; приветствовал буржуазную революцию XVIII века на ее первых шагах, будучи сторонником конституционной монархии; но по мере углубления революции превратился в ожесточенного врага якобинской диктатуры и был гильотинирован. Лормиан (Баур-Лормиан, 1770-1854)—французский поэт и переводчик.

39 8 октября 1799 года Бонапарт высадился на мысе Фрежюс.

40 Арколе, Лоди города в Италии, места побед Наполеона над австрийцами в 1796 году.

41 Пританей—здесь: военные школы во Франции; слово “пританей”—греческое.

42 Эро де Сешель (1759-1794)—деятель Великой французской революции, председатель Конвента.

43 Фемистокл (ок. 525-460 гг. до н. э.)—древнегреческий полководец; успешно участвовал в оборонительных войнах греков против персов, но, будучи подвергнут изгнанию, нашел убежище у персов.

- 44 * В 1840 году мы судили о Наполеоне соответственно его собственным
вкусам. Первые опубликования протокола об извлечении его останков,
которые сохранились в таком состоянии, что можно было кричать о
чуде, в газетах и официальных обращениях к населению говорилось,
однако, о “прахе” Наполеона. Разумеется, поэты поспешили также
воспользоваться словом “прах”. Рассказывают, что какой-то ветеран,
часто слыша это слово, воскликнул: “Ну вот, эти прохвосты англичане
все-таки сожгли его!”
- 45 Парсеваль-Гранмезон (1759-1834)—французский поэт, сторонник
классицизма.
- 46 Здесь и дальше стихи переведены Валентином Дмитриевым.
- 47 Речь идет о живописце Герене (1774-1833).
- 48 После 20 марта 1815 года, когда Наполеон прибыл в Париж (начало
периода Ста дней).
- 49 Бонапарт, Люсьен (1775-1840)—брат Наполеона, занимавший ряд
высоких должностей; в частности, был членом Академии.
- 50 Я уже говорил в другом месте—в предисловии к сборнику 1833 года.
- 51 Жюдит (Жюдит Фрер)—подруга Беранже, его гражданская жена;
скончалась в 1857 году, семидесяти восьми лет.
- 52 Ленорман (1772-1843)—французская гадалка.
- 53 * Жалованье академиков составляло тысяча пятьсот франков во всех
разрядах института; но в разряде литературы у каждого члена
удерживается треть—на пожетонную плату и на пенсию для тех,
которые по достижении шестидесяти лет не имеют шести тысяч
франков личного дохода.
- 54 *Коронованный лицедей*—римский император Нерон (37-68 гг. н. э.),
любивший выступать на сцене в качестве певца.
- 55 Делиль (1738-1813)—французский поэт-классицист.
- 56 Лебрен-Пиндар (1729-1807)—французский поэт Экушар Лебреи,
прозванный Пиндаром; представитель классицизма.
- 57 Аввакум—израильский пророк VII в. до н. э.
- 58 Ландон (1760-1826)—французский живописец и издатель.
- 59 Беранже, как типичный француз, считал, что англичане грабили
Индию.
- 60 Вместе с Гереном, Бурдоном и Эвваром.
- 61 Фонтан (1757-1821)—французский поэт и ректор Парижского
университета, бонапартист, противник Реставрации.
- 62 Беранже поступил на службу в канцелярию университета в 1808 году.
- 63 “Гений христианства”—произведение Шатобриана (1768-1848),
французского писателя-романтика.
- 64 Баттё (1713-1780)—французский литератор-классицист, автор трудов
по риторике и поэтике. Лагарп (1739-1803)—французский классицист,
поэт и критик, автор “Курса литературы”, очень популярного в XVIII
веке.
- 65 Дасье (1651-1720)—французская писательница, знаток античности и
переводчица Гомера.
- 66 Тюренн (1611-1675)—французский маршал. Боссюэ
(1627-1704)—французский епископ, духовный оратор и писатель.

- 67 Доле, Этьен (1509-1546)—французский филолог и типограф, сожженный в Париже за свои передовые гуманистические воззрения. Ванини, Луцилио (1585-1619)—итальянский философ, обвиненный в ереси и чернокнижии и сожженный в Тулузе.
- 68 * В скольких ересях можно обвинять самого Шатобриана!
- 69 Грессе (1709-1777)—французский поэт и драматург.
- 70 Реньяр (1655-1709)—французский комедиограф.
- 71 Мысль Беранже, вероятно, та, что комедия Реньяра не вполне удачно озаглавлена; образ старого и глупого холостяка Жеронта очерчен в ней с наибольшей художественной удачей.
- 72 * И все же мое имя было однажды названо в афишах театра “Водевиль”; это было в первые годы Реставрации. Моро и Вафляр предложили мне сотрудничать в пьесе, озаглавленной “Хамелеоны”. Но я не выполнил своей части работы, отказался от сотрудничества, и меня не должны были именовать соавтором. Я ни разу не видел и не читал эту пьесу и, несмотря на настояния обоих авторов, отказался от своей доли гонорара. Мне известно, что некий библиоман, г-н де Солейн, приписал мне куплеты в нескольких пьесах Антье. Это смешно, так как у меня и Антье для такого рода работы резко отличные дарования. Помнится, я написал не более дюжины куплетов для “Хамелеонов”, и из этого числа Моро, к его изумлению, нашел сильными не более трех-четырёх.
- 73 * Г-н Люсьен Бонапарт производил в окрестностях Рима значительные раскопки.
- 74 Письмом к Люсьену Бонапарту, напечатанным в сборнике 1833 года.
- 75 В пору Ста дней.
- 76 Тьер (1797-1877)—французский политический деятель, историк; либерал при Реставрации, впоследствии один из столпов Июльской монархии, неоднократно был министром и жестоко расправлялся с народными восстаниями; позднее—известный палач Парижской коммуны. Образ Тьера в “Моей биографии” значительно идеализирован.
- 77 Пирон (1689-1773)—французский сатирический поэт, славившийся остроумием.
- 78 Во время стрельбы из лука при каждом попадании в цель раздавался звонок.
- 79 * Эта ода случайно уцелела от огня, истребившего столько ее незадачливых сестер.
- 80 От непродолжительной связи поэта с его кузиной Аделаидой Парон (дочь его тетки, впоследствии поступившая в монастырь) у него родился внебрачный сын Люсьен Парон. Беранже принял на себя заботы о его воспитании и образовании. Когда его сыну исполнилось двадцать лет, поэт дал ему 15,000 франков и отправил его в колонии, чтоб он занялся там торговлей. Люсьен немедленно растратил эти деньги и получал затем от отца ежегодное пособие в 1,000 франков. Поэт много раз предлагал усыновить его и дать ему свое имя, если он исправится, но все было напрасно. Люсьен умер на острове Бурбон.
- 81 “Учитель”—подразумевается Буало; цитируется строка из его дидактической поэмы “Поэтическое искусство” (1674).

- 82 Несмотря на действительное совпадение в значении обоих
слов.—Слово “ода” по-гречески значит: “песня”.
- 83 * Поверят ли, что еще недавно некоторым лицам, когда-то
поносившим Наполеона, вздумалось упрекать меня за то, будто в песне
“Король Ивето” я нападал на этого великого человека в момент его
падения? Эти люди словно совсем позабыли, что моя песня ходила по
рукам за несколько месяцев до побед при Лютцене и Бауцене—побед
[Речь идет о победах Наполеона в мае 1813 года над русскими и
прусскими войсками.], которые, без сомнения, были бы
незамедлительно воспеты этими господами, если бы они могли тогда
владеть моим пером.
- 84 Это общество возникло в 1806 году и называлось “Современный
погребок”; Беранже состоял его членом около трех лет.
- 85 Панар (1674-1765)—французский песенник и драматург. Колле
(1709-1783)—французский песенник и драматург. Галле—французский
песенник первой половины XVIII века.
- 86 Кребийон-отец (1674-1762)—французский драматург, автор трагедий.
Кребийон-сын (1707-1777)—французский писатель, автор фривольных
романов. Дезожье (1772-1827)—французский песенник и водевилист.
- 87 Ложон, Пьер (1727-1811)—французский песенник.
- 88 Реньо де Сен-Жан д’Анжели (1761-1819)—французский
государственный деятель, долгое время—сторонник Бурбонов; в пору
Ста дней—бонапартист.
- 89 Пиис, де, шевалье (1755-1831)—французский литератор; сначала
служивший при дворе, у графа д’Артуа, далее песенник революции
XVIII века, затем продажный бард Первой империи, а при
Реставрации—полицейский осведомитель.
- 90 Речь идет о “Погребке”—объединении песенников, основанном в 1729
году Кребийоном-отцом, Пироном и Колле и просуществовавшем до
1739 года.
- 91 Гуффе (1775-1845)—французский песенник и драматург.
- 92 Новой школе.—Имеется в виду романтическая литературная школа,
окончательно образовавшаяся во французской литературе в 20-х годах
XIX века.
- 93 Жантиль—французский песенник, член “Современного погребка”.
- 94 Герцог Рагузский—французский маршал Мармон (1774-1852).
- 95 Дюкло (правильнее Шодрюк-Дюкло)—ярый французский роялист,
недовольный Империей, как впоследствии он был недоволен и
“неблагодарной” Реставрацией, не оценившей его преданности.
Мобрей—французский авантюрист, связанный с роялистскими кругами
и обиравший их под предлогом готовности произвести покушение на
Наполеона.
- 96 Беранже называет так Наполеона I.

- 97 Мария-Луиза (1791-1847)—французская императрица, дочь австрийского императора Франца, вторая жена Наполеона I. Бежала со своим сыном, “римским королем”, из Парижа 29 марта 1814 года, накануне вступления союзных войск; Жозеф, брат Наполеона, возглавлявший оборону Парижа, бежал вместе с нею, под предлогом ее сопровождения.
- 98 Карно, Лазарь (1753-1823)—французский республиканец, активный участник Великой французской революции, один из прославленных организаторов обороны в 1792 году; Наполеон не очень доверял известному своим республиканизмом Карно, но привлек его к участию в обороне Франции в пору Ста дней; Реставрация изгнала Карно как члена Конвента и “цареубийцу”.
- 99 Герцогиня Ангулемская (1778-1851)—дочь казненного короля Людовика XVI.
- 100 Валетт, правильное г-жа де Лавалетт (1780-1855)—жена генерала де Лавалетта, участника Ста дней. Не добившись помилования мужа, приговоренного при второй Реставрации к смертной казни, г-жа де Лавалетт помогла ему бежать из тюрьмы накануне казни, обменявшись с ним одеждой.
- 101 Намек на бегство Марии-Луизы из Парижа.
- 102 Рудольф Габсбургский (1218-1291)—основатель австрийской монархии. Карл V (1500-1558)—испанский король и германский император.
- 103 Намек на реставрацию Стюартов.
- 104 Бернадотт (1764-1844)—маршал Наполеона, ставший с 1818 года шведским королем под именем Карла XIV, или Карла-Иоганна.
- 105 Моро (1763-1813)—французский генерал, враг Наполеона и участник заговоров против него; сражался против наполеоновских войск в рядах русской армии и был убит в одном из боев.
- 106 Констан, Бенжамен (1767-1830)—французский писатель и оратор, либерал. Г-жа де Сталь (1766-1817)—французская писательница, враг Наполеона.
- 107 Имеются в виду мемуары Наполеона I.
- 108 Эгерия—нимфа в римской мифологии, советница римского царя Нумы Помпилия.
- 109 Поццо ди Борго (1764-1842)—корсиканский дипломат, одно время находившийся на русской службе.
- 110 Беньо (1761-1835)—французский политический деятель, один из видных чиновников Первой империи, назначенный в 1814 году от Временного правительства министром внутренних дел.
- 111 Время между вечером 19 марта 1815 года, когда Людовик XVIII бежал из Парижа, и вечером 20 марта, когда в Париж въехал Наполеон.
- 112 Дюпон (де л’Ер) (1767-1855)—французский политический деятель, либерал.
- 113 Дюрбаш (1763-?)—французский политический деятель, бонапартист, изгнанный при Реставрации.
- 114 Фуше (1759-1820)—министр полиции при Наполеоне; безуспешно пытался пристроиться к Реставрации, но был изгнан и умер в Иллирии.

- 115 *Нантский Скапен*—Фуше родившийся в Нанте. Скапен—тип ловкого, озорного и изобретательного слуги из комедий Мольера.
- 116 * Этот г-н Фабри был в Эксе одним из друзей Манюэля, который, отклонив свою кандидатуру в депутаты от этого города, добился избрания Фабри. Тем не менее Манюэль был избран от Барселонетты. Он верил в искренность убеждений Фуше—как члена Конвента и как подавшего голос за казнь Людовика XVI, а Фуше старался во что бы то ни стало поддерживать с ним отношения после второй Реставрации. Манюэль помог Фуше редактировать его заметки, наделавшие тогда много шуму разоблачением того, опасного пути, которым следовал двор. Этими заметками Фуше стремился предотвратить свое падение, а Манюэль—послужить Франции.
- 117 Витроль (1774-1854)—французский роялист, эmissар Бурбонов, один из министров при Реставрации.
- 118 Солиньяк (1773-?)—французский генерал, один из ярых бонапартистов и сторонников воцарения Наполеона II.
- 119 Колло д'Эрбуа (1750-1796)—участник Великой французской революции, якобинец и член Комитета общественного спасения.
- 120 Дочь Людовика XVI—герцогиня Ангулемская.
- 121 Фуше умер в 1820 году в изгнании в Триесте, где и похоронен.
- 122 Блюхер (1742-1819)—прусский генерал.
- 123 Гнейзенау (1760-1831)—прусский фельдмаршал. Бюлов (1755-1816)—прусский генерал.
- 124 Мэзон (1771-1840)—наполеоновский маршал.
- 125 Груши (1766-1847)—наполеоновский маршал.
- 126 У Людовика XVIII.
- 127 Куртуа—член Конвента, термидорианец, которому Конвент поручил рассмотреть и привести в порядок бумаги казненного Робеспьера; при Реставрации был изгнан.
- 128 Антигона—героиня одноименной трагедии древнегреческого драматурга Софокла (V в. до н. э.); образ преданной и нежной дочери.
- 129 Бургуан (1781-1833)—французская актриса.
- 130 Петито (1772-1825)—французский литератор; с 1814 года ученый секретарь Парижского университета (после ухода Арно с этой должности).
- 131 Альцест персонаж комедии Мольера “Мизантроп” (1666), тип обличителя людских пороков.
- 132 В книге Эккермана “Разговоры с Гёте” собрано много благожелательных высказываний Гёте о Беранже.
- 133 При отсутствии в ту пору разработанного авторского права бельгийские (главным образом) и некоторые французские издатели пиратски перепечатывали все новинки французской литературы; такие перепечатки назывались контрафакциями.
- 134 Аристарх (II в. до н. э.)—древнегреческий грамматик и критик; нарицательное имя сурового критика.
- 135 Минье (1796-1884)—французский историк-либерал.
- 136 Мансар (1598-1666)—французский архитектор, построивший, в частности, замок Мезон.

- 137 Участников революции XVIII века и активных бонапартистов, изгнанных в начале Второй реставрации.
- 138 * Надо помнить, что я размышлял таким образом еще до появления той новой школы, “которая все это переменяла”, как говорится в “Лекаре поневоле”.
- 139 Ирония.
- 140 Тальма (1763-1826)—французский трагический актер.
- 141 “Граф Юлиан” и другие перечисленные драматургические произведения были задуманы Беранже, но неизвестно, написал ли он их.
- 142 Никомед и Прузий являются персонажами трагедии Корнеля “Никомед” (1651), Феликс—персонаж корнелевского “Полиевкта” (1643); с точки зрения Беранже, эти образы отличались большой реалистической естественностью, сочетанием “простого и обыкновенного с героическим”.
- 143 Латуш, Анри де (1785-1851)—французский романист.
- 144 Пастиш—литературная стилизация, подделка под стиль того или иного писателя.
- 145 В примечаниях к французскому изданию автобиографии читаем: “За это место “Моей биографии” Беранже не раз упрекали, словно оно означало, что он не понимал Андре Шенье или что его слава была ему неприятна. Правда же в том, что Анри де Латуш в интимных беседах говорил не обинуясь, что он включил в сборник А. Шенье много своих собственных стихов. Можно удостовериться в этом по “Мемуарам” Александра Дюма-отца” (Beranger. Ma Biographie. P., 1860, pp. 207-208). Фальсифицированные стихотворения Андре Шенье, относящиеся к периоду якобинской диктатуры, до сих пор являются оружием французской реакции и за истекшие полтора века неизменно переиздавались—да еще со все новыми дополнениями—во все реакционные периоды французской истории.
- 146 Варант (1782-1866)—французский публицист и историк. Гизо (1787-1874)—французский государственный деятель, либерал и орлеанист; министр в годы Июльской революции. Симеон-отец видный французский чиновник времени Беранже, председатель высшей счетной палаты. Мунье—французский политический деятель, один из министров Реставрации. Берар (1783-1859)—французский промышленник и политический деятель, либерал при Реставрации.
- 147 Умеренные роялисты, сторонники конституции, стоявшие у власти с 1816 года, слабея под натиском дворянско-клерикальной реакции, уступили в декабре 1821 года место более реакционному кабинету Виллеля; нараставшая активность ультрароялистов пугала либералов, видевших, что Франция стоит накануне новой революции; в самом деле, в ответ на появление кабинета Виллеля тайные общества ответили рядом восстаний в декабре 1821 года и в начале 1822 года.

- 148 * Должен тут сказать, что Себастиани и Казимир Перье были из числа тех, кто не отказал мне в поддержке при таких обстоятельствах. Хотя я и не был тесно связан с последним, он всегда превосходно вел себя по отношению ко мне. И если бы я выступал как политик, я мог бы сказать немало хорошего о его министерстве, которому до сих пор не воздали, как мне кажется, должной справедливости.
- 149 Намек на один из военных заговоров против Реставрации, раскрытый правительством и завершившийся казнью четырех сержантов Ларошельского гарнизона (21 сентября 1822 г.), память о которых долго была священна среди французского народа.
- 150 Подвергнуты преследованию были следующие песни: 1) “Вакханка”, “Бабушка”, “Марго”—за оскорбление нравственности, 2) “Deo gratias эпикурейца”, “Сошествие в ад”, “Мой кюре”, “Капуцины”, “Приходские певчие”, “Добрый бог”, “Смерть короля Кристофа”—за нарушение религиозной морали, 3) “Наваррский принц”, “Добрый бог”, “Охрипший певец”, “Белая кокарда”—за оскорбление особы короля, 4) “Старое знамя”—за призыв к ношению знамени, не разрешенного королем. Беранже был оправдан по 1 и 3 пунктам, но осужден по 2 и 4. Суд происходил 8 декабря 1821 года.
- 151 Коттю, Шарль (1777-?)—французский судья.
- 152 Имеется в виду песня “Прощание с полями”.
- 153 Курье, Поль-Луи (1772-1825)—французский памфлетист, активный враг Реставрации.
- 154 Смерть Поля-Луи Курье произошла при загадочных обстоятельствах: он был убит 10 апреля 1825 года сторожем своего леса; мотивы убийства так и не были в точности выяснены.
- 155 Кошюа-Лемер (1789-1861)—французский публицист, друг Беранже; за свою энергичную борьбу против Реставрации много раз подвергался тюремному заключению.
- 156 Беллар (1761-1826)—прокурор-роялист, ярый приверженец Реставрации.
- 157 В 1821 году была выпущена, без имени автора, брошюра “Суд над песнями Беранже”, содержащая подробный отчет о первом процессе поэта.
- 158 Барт (1795-1863)—французский юрист; при Реставрации выступал на многих политических процессах, защищая деятелей оппозиции; при Июльской монархии стал консерватором.
- 159 Бридуазон—образ комического судьи из “Женитьбы Фигаро” Бомарше.
- 160 Бervиль (1788-?)—французский юрист.
- 161 * По поводу этого процесса некий типограф утверждал, что я не сдержал слова, данного издателю, а газета “Журналь де Деба” принялась поддерживать это совершенно неправильное заявление. Я мог бы привлечь к судебной ответственности и лжесвидетеля и журналиста. Но я никогда не любил шума и, рассчитывая всегда на здравый смысл публики, не прибегнул к такому способу уточнения истины.
- 162 Фуа (1775-1825)—французский генерал, популярный среди французской либеральной оппозиции 20-х годов.

- 163 * Я прочитал в неблагоприятной и полной ошибок заметке
 “Биография Мишо”, что Манюэль любил игру. Надо очень дурно
 относиться к человеку, чтобы позволить себе такую грубую ложь.
 Манюэль любил только те игры, которые требуют физической
 ловкости,—его большой страстью была охота.
- 164 Мартиньяк (1778-1832)—французский политический деятель, один из
 министров при Карле X.
- 165 Сент-Бёв (1804-1869)—известный французский критик.
- 166 Сборник стихотворений Ламартина “Поэтические размышления”
 (1820).
- 167 Виньи, Альфред де (1797-1863)—французский романтик, поэт и
 романист.
- 168 Франциск I—французский король (1494-1547).
- 169 “Жослен” (1835) и “Падение ангела” (1838)—поэмы Ламартина.
- 170 “Мученики”, “Гений христианства”, “Исторические этюды”,
 “Рене”—произведения Шатобриана.
- 171 В 1838 году.
- 172 Ламеннэ (1782-1854)—один из французских утопистов, пропагандист
 “христианского социализма”.
- 173 Ларошфуко-Лианкур (1747-1827)—французский филантроп и
 политический деятель, сторонник либералов при Реставрации.
- 174 Аграрный закон—речь идет об уравнительном перераспределении
 земель, которого требовал Бабёф; под либералом из дворян,
 перевозносившим этот закон, Беранже, возможно, имеет в виду Войе
 д’Аржансона.
- 175 Дворянство, созданное Наполеоном I.
- 176 Герцог Орлеанский (1773-1850)—с 1830 года французский король
 Луи-Филипп.
- 177 Талейран (1754-1838)—французский политический деятель и
 дипломат; министр иностранных дел при Директории, в правительстве
 Наполеона I и в начале правления Людовика XVIII.
- 178 * На венском конгрессе он сначала играл роль, оскорбительную для его
 самолюбия, и уже хотел было выйти из игры. Но г-н де ла Бенадьер,
 которого еще теперь так ценят в министерстве иностранных дел, внушил
 ему мысль запросить нотой, какова будет позиция Австрии по
 отношению к мирному трактату, если Россия добьется от Германии
 уступки своим домогательствам. Тайный совет, мнение коего запросили,
 ответил, что в этом случае австрийскому императору понадобится еще
 армия в четыреста тысяч человек, чего испугались и император и другие
 государи. С этого времени г-н Талейран снова стал влиятельным лицом
 на конгрессе, но он остерегся обратить это влияние на пользу Франции в
 такой мере, как мог бы это сделать. Мне рассказывал об этом сам
 Бенадьер, и это была не единственная услуга, оказанная им
 ленивейшему из всех людей.

- 179 Подразумевается предварительный мирный договор, заключенный 23 апреля 1814 года и утвержденный 30 мая 1814 года, по которому Франция оставалась в пределах границ, существовавших до 1792 года, сохранив даже кое-что из последующих завоеваний. Беранже, суждения которого по вопросам французской дипломатии и национальной политики далеко не всегда справедливы (так, он изобразил Бернадотта в виде комической фигуры претендента-стяжателя, в то время как вопрос о кандидатуре Бернадотта на французский трон одно время весьма серьезно обдумывался Александром I), ошибается и тут, обвиняя Талейрана: Франция была так слаба и беспомощна в это время, что коалиционные монархи легко могли бы раскромсать ее на части. Таким образом, в существовавшей обстановке парижский договор скорее был удачей для Франции, несмотря, конечно, на всю горечь связанного с ним национального унижения.
- 180 В 1833 году, когда после издания своего нового сборника Беранже хотел совсем отойти от литературной жизни и уехал из Парижа.
- 181 Беранже подал голос за Луи-Филиппа.
- 182 Намек на не избрание Константа в члены Французской академии.
- 183 Отвергнутый Академией в 30-х годах, Гюго был избран в число академиков в 1841 году.
- 184 Ришилье.
- 185 * Разумеется, я тут говорю не о том словаре, который, как уверяют, должен содержать историю слов,—его эти господа никогда не смогут кончить. Я имею в виду словарь, которым пользовалась бы вся нация и иностранцы, говорящие на нашем языке или изучающие его.
- Понятно также, что издержки этой сложной работы должны быть приняты на счет государства и что под началом комиссии, составленной из членов, избранных различными разделами Института, должно быть большое количество молодых людей для выполнения предварительных работ. Французская академия была бы секретарем в коллективной работе. Корректурные гранки каждого листа словаря вывешивались бы в учреждениях народного образования, как, например, во всякого рода факультетах, коллежах и т. д. И комиссия обязана была бы рассматривать все замечания, адресованные по поводу содержания гранок.
- Так как у нас уже вообще ничего не делают из чистого самоотвержения, нужно, чтобы правительство не щадило средств на этот общенациональный труд, который оно должно бесплатно распределять всюду, где это будет признано необходимым.

Поэт переехал из Парижа в Пасси в 1833 году, жил в Фонтенебло с 1835 года и в Туре—с 1836-го. Позднее, с 1841 года, Беранже опять поселился в Пасси, а в 50-х годах некоторое время жил в Божоне, пока ухудшившееся состояние здоровья не принудило его в 1855 году перебраться в Париж, где он и скончался 16 июля 1857 года, тремя месяцами пережив подругу своей жизни Жюдит Фрер.

Существуют ошибочные представления о том, что похороны поэта происходили с величайшей торжественностью и что за его гробом шла чуть ли не полумиллионная толпа парижан. На самом деле правительство Второй империи, недолголюбивавшее Беранже за его ироническое отношение к ней, опасалось, как бы его похороны не послужили поводом к каким-либо волнениям, и приказало похоронить его в 24 часа. Улицы, вдоль которых следовало похоронное шествие, были оцеплены плотными шпалерами войск, в помощь которым была наряжена и вся парижская полиция. Похоронное шествие открывал комендант Парижа во главе своего эскадрона; за гробом шла небольшая группа друзей поэта; шествие замыкалось отрядом гусар. Речей на могиле не произносилось; к двум часам дня 17 июля все было закончено. В улицах и переулках, выходивших на путь следования погребальной колесницы, было стиснуто все то население Парижа—в частности, множество рабочих,—которое тщетно мечтало отдать последний долг любимому поэту.